

ЧАК ПАЛАНИК



18+

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

РОМАН

Annotation

Это — Чак Паланик, какого вы не то что не знаете — но не можете даже вообразить. Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно?

Тогда просто прочитайте «Колыбельную»!

...СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины — просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»?

Или — СМЕРТЬ ПОД «КОЛЫБЕЛЬНУЮ»?

Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле».

Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений...

Это — «Колыбельная».

-
- [Чак Паланик](#)
 -
 -
 - [Пролог](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвёртая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)

- [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвёртая](#)
 - [Глава двадцать пятая](#)
 - [Глава двадцать шестая](#)
 - [Глава двадцать седьмая](#)
 - [Глава двадцать восьмая](#)
 - [Глава двадцать девятая](#)
 - [Глава тридцатая](#)
 - [Глава тридцать первая](#)
 - [Глава тридцать вторая](#)
 - [Глава тридцать третья](#)
 - [Глава тридцать четвёртая](#)
 - [Глава тридцать пятая](#)
 - [Глава тридцать шестая](#)
 - [Глава тридцать седьмая](#)
 - [Глава тридцать восьмая](#)
 - [Глава тридцать девятая](#)
 - [Глава сороковая](#)
 - [Глава сорок первая](#)
 - [Глава сорок вторая](#)
 - [Глава сорок третья](#)
 - [Глава сорок четвёртая](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Чак Паланик

Колыбельная

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc. и Andrew Nurnberg.; © Chuck Palahniuk, 2002

© Перевод. Т. Ю. Покидаева, 2002

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

*Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу
не бьют.*

Посвящение следует

Пролог

Поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.

А потом, в первое утро на новом месте, они спускаются вниз, и вот оно, нацарапано на дубовом паркете:

УБИРАЙТЕСЬ

Одни хозяева делают вид, что это шутка кого-нибудь из приятелей. Другие уверены, что это всё потому, что они не приплатили носильщикам.

А ещё через пару ночей начинается детский плач — из северной стены хозяйской спальни.

Обычно тогда они и звонят.

Очередной новый хозяин на телефоне — это вовсе не то, что нужно нашей героине, Элен Гувер Бойль, в это конкретное утро.

Все эти заикания и рыдания в трубку.

А что ей нужно, так это ещё одна чашка кофе и домашняя птица из семи букв. Ей нужно прослушать радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, чтобы быть в курсе событий. Элен Бойль щёлкает пальцами, пока в дверях не появляется секретарша. Наша героиня прикрывает телефонную трубку обеими руками и кивает на радиосканер:

— Там код девять-одиннадцать.

Секретарша, её зовут Мона, пожимает плечами и говорит:

— И чего?

Она проверяет по справочнику и говорит:

— Расслабься. Это кража в магазине.

Убийства, самоубийства, серийные убийства, случайные передозировки — нельзя дожидаться, пока сообщения об этом появятся на первых полосах газет. Нельзя, чтобы какой-то другой посредник обставил тебя в гонке за очередным перспективным клиентом.

Элен нужно, чтобы новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас

заткнулся хотя бы на полминуты.

Разумеется, неизменное УБИРАЙТЕСЬ образовалось на полу в гостиной. Странно другое: как правило, детский плач начинается только на третью ночь. Сначала — призрачное послание, потом — детский плач на всю ночь. Если хозяевам хватит смелости продержаться неделю, они обязательно позвонят на восьмой день — насчёт лица, которое отражается в ванной, когда в неё набирают воду. Одутловатое сморщенное лицо с чёрными провалами вместо глаз.

В начале третьей недели появляются призрачные тени, которые медленно кружат по стенам столовой, когда семья собирается за столом. Наверное, это ещё не конец, но никто пока не выдерживал больше трёх недель.

Элен Гувер Бойль говорит в трубку:

— А вы уверены, что сумеете доказать на суде, что этот дом непригоден для жизни, вы уверены, что сумеете доказать, что предыдущие хозяева знали, что там происходит... — Она говорит: — Я вам скажу. — Она говорит: — Вы проиграете дело, о доме пойдёт дурная слава... кстати, вашими же стараниями... и вы его не продадите даже за полцены.

Это неплохой дом, № 325 на Крествуд-террас: в стиле эпохи английских Тюдоров, новая крыша из современных материалов, четыре спальни, три ванны, ещё один дополнительный туалет. При доме — бассейн. Нашей героине даже не нужно смотреть каталог. Этот дом она продавала шесть раз за последние два года.

Ещё один дом, на Этон-корт, типичный для Новой Англии домик, двухэтажный с фасада и одноэтажный с тыла, шесть спален, четыре ванны, лестничная площадка обшита панелями из сосны, и кровь растекается по стенам кухни. Этот дом она продавала восемь раз за последние четыре года.

Новому хозяину она говорит:

— Подождите минутку на линии, — и жмёт красную кнопку.

Сегодня Элен во всём белом: белый костюм и туфли. Только это не ослепительно снежно-белый, а белый, как трасса для горнолыжного спуска на канадском курорте Банфф, с личной машиной, с наёмным шофёром, четырнадцатью стильными чемоданами, подобранными друг к другу, и номером в отеле «Лейк-Луис».

Повернувшись к двери, наша героиня говорит:

— Мона? Лунный луч? — И чуть громче: — Бесплотная дева?

Она стучит ручкой по сложенной вчетверо газете у себя на столе и говорит:

— Не знаешь: грызун из пяти букв, но не крыса?

Радиосканер булькает и издаёт слова, всхрюки и треск, повторяя: «Как понял?» — через каждую фразу. Повторяя: «Как понял?»

Элен Бойль кричит:

— Это разве кофе?!

Через час она едет встречаться с клиентом — показывать дом. Особняк в стиле эпохи королевы Анны, пять спален, отдельный вход в гостевое крыло, два газовых камина и лицо самоубийцы, обожравшегося барбитурата, которое появляется поздно ночью в зеркале в дамской комнате. Потом — одноэтажный «фермерский» дом с паровым отоплением, большим подвалом и периодически повторяющимся грохотом призрачных выстрелов — отголосков двойного убийства десятилетней давности. Всё это записано у неё в ежедневнике — толстой тетради в переплёте из материала, похожего на красную кожу. У неё там записано всё.

Она отпивает ещё глоток кофе и говорит:

— Как он называется? Швейцарский армейский мокко? Кофе должен быть по вкусу похож на кофе или я чего-то не понимаю?

Мона встаёт в дверях, сложив руки на животе, и говорит:

— Чего?

И Элен говорит:

— Я хочу, чтобы ты съездила и проверила... — она листает каталог у себя на столе, — ...ага, № 4673, Уиллмонт-плейс. Особняк в голландском колониальном стиле, солярий, четыре спальни, две ванны и убийство при отягчающих обстоятельствах.

Радиосканер трещит:

— Как понял?

— Всё как обычно, — говорит Элен, пишет адрес на карточке и передаёт карточку Моне. — Ничего там не трогай в астральном смысле. Не надо жечь листья полыни и изгонять бесов.

Мона берёт карточку с адресом и говорит:

— Просто проверить дом на наличие вибраций?

Элен рубит воздух ладонью и говорит:

— Я не хочу, чтобы духи срывались к какому-то яркому свету по тоннелям в тонкой материи. Я хочу, чтобы они оставались на этом астральном срезе, у меня на них свои планы. — Она опускает глаза на газету, разложенную на столе, и говорит: — У них впереди целая вечность, у мертвецов. С них не убудет ещё лет пятьдесят побродить по дому и погрометь цепями.

Новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас всё ещё ждёт на линии.

Элен Гувер Бойль смотрит на мигающий огонёк на телефоне и говорит:

— Что-нибудь вчера обнаружилось в том испанском особняке на шесть спален?

Мона возводит глаза к потолку. Закусывает верхнюю губу и тяжело вздыхает. Потом косится на прядь волос у себя на лбу и говорит:

— Там определённо присутствуют токи тонкой энергии. Потусторонние силы есть, но они очень слабые. Но зато нижний план замечательный. — Чёрный шёлковый шнур обвивается вокруг её шеи и исчезает в уголке рта.

И наша героиня говорит:

— Нижний план идёт лесом.

Ей не нужны замечательные дома, которые продаются раз в пятьдесят лет. «Дом, милый дом» идёт лесом. Вместе со слабыми проявлениями тонкой энергии: холодными областями, непонятными испарениями, беспокойством домашних животных. Что ей нужно, так это кровь, растекающаяся по стенам. Ей нужны ледяные невидимые руки, которые по ночам стаскивают малышей с кроватей. Ей нужны горящие красным глаза у подножия лестницы в подвал. И подходящая атмосфера гнетущей таинственности.

Дом с верандой, № 521 на Эльм-стрит: четыре спальни, оригинальные решётчатые ворота и вопли на чердаке.

Особняк в нормандском стиле, № 7645 на Вестон-хейтс: арочные окна, буфетная комната, двери с витражными стёклами и призрак с многочисленными ножевыми ранениями в коридоре на втором этаже.

Дом в деревенском стиле, № 248 на Леви-плейс: пять спален, четыре ванны, один дополнительный туалет, кирпичный патио и периодически проявляющиеся кровоподтёки на стенах хозяйской ванной, отголосок убийства водопроводчика посредством отравления.

Риэлторы называют такие дома несчастливыми. Эти дома либо вообще никогда не продаются, потому что никто не любит показывать их клиентам и никто из риэлторов не рискует заходить туда в одиночку, либо, наоборот, продаются и продаются — раз примерно в полгода, — потому что в них невозможно жить. Ещё штук двадцать — тридцать таких домов с эксклюзивным правом на продажу, и Элен можно будет расслабиться. Отключить радиосканер. Закончить читать некрологи и полицейскую хронику на предмет убийств и самоубийств. Прекратить гонять Мону — проверять все вероятные варианты, которые могут дать ключ к разгадке. Ей можно будет расслабиться и подумать над породой лошадей из пяти букв.

— И ещё я тебя попрошу, заberi мои вещи из химчистки, — говорит

она. — И сделай нормальный кофе. — Она наводит на Мону ручку и говорит: — И я тебя очень прошу, сними ты эту свою растаманскую хренотень. Мы же всё-таки серьёзная фирма.

Мона тянет за чёрный шёлковый шнур и достаёт изо рта кристалл кварца, блестящий и мокрый. Дует на него и говорит:

— Это кристалл. Мне его Устрица подарил, мой бойфренд.

И Элен говорит:

— Ты встречаешься с парнем по имени Устрица?

Мона роняет кристалл на грудь и говорит:

— Он говорит, это мне для защиты.

На её оранжевой блузке остаётся тёмное влажное пятно.

— Да, и пока ты не ушла, — говорит Элен, — соедини меня по телефону с Биллом или Эмили Барроуз.

Она нажимает на кнопку ожидания на линии и говорит:

— Прошу прощения. — Она говорит, что есть несколько вариантов. Например, новый хозяин подписывает документ о формальном отказе от права собственности и спокойно съезжает, а с домом уже разбирается банк. — Или, — говорит наша героиня, — вы мне выписываете доверенность на эксклюзивное право продажи дома. Это у нас называется «карманный листинг».

Может быть, новый хозяин сейчас скажет: *нет*. Но когда он пойдёт принять ванну и в воде у него между ног возникнет эта кошмарная рожа, когда по стенам забегают странные тени, он скажет: *да*. Ещё не было случая, чтобы кто-то не согласился.

Новый хозяин на том конце линии говорит:

— И вы ничего не расскажете покупателям... о проблеме?

И Элен говорит:

— Вы не распаковывайте, что осталось. Мы скажем, что вы уже выезжаете. Если кто-нибудь спросит, скажите, что вам предложили работу в другом городе. Скажите, что вам очень нравится этот дом и вам жалко его продавать.

Она говорит:

— А всё остальное останется нашей маленькой тайной.

Мона кричит из приёмной:

— Билл Барроуз на второй линии.

Радиосканер трещит:

— Как понял?

Наша героиня нажимает на кнопку и говорит в трубку:

— Билл!

Глядя на Мону, она произносит одними губами:

— Кофе.

Она кивает на окно и так же беззвучно, одними губами, говорит Моне:

— Иди.

Радиосканер трещит:

— Как понял?

Это *была* Элен Гувер Бойль. Наша героиня. Теперь мёртвая, но не покойная. Это был просто ещё один день в её жизни. Это была её жизнь до того, как появился я. Может быть, это история о любви. Может быть, нет. Поживём — увидим. Потому что я сам не уверен, насколько мне можно себе доверять.

Это история об Элен Гувер Бойль. О том, как она не даёт мне покоя. Как навязчивая мелодия, застрявшая в голове. О том, какой, мы себе представляем, должна быть жизнь. О том, что цепляет и не отпускает. О том, как прошлое тянется следом за нами в будущее.

Да, именно так. И всё это — Элен Гувер Бойль.

У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.

В тот день — последний день в обыкновенной, нормальной жизни — наша героиня говорит в трубку:

— Билл Барроуз?

Она говорит:

— Пусть Эмили подойдёт к параллельному телефону, у меня хорошая новость. Я нашла замечательный дом, вам понравится.

Она пишет РЫСАК по горизонтали и говорит:

— Насколько я понимаю, хозяин очень заинтересован, чтобы продать дом побыстрее.

Глава первая

Трудность любого рассказа: он всегда получается задним числом.

Даже «живой» комментарий на радио — круговые пробежки и страйк-ауты — всё равно отстаёт от реальных событий на пару минут. Даже прямые трансляции по телевидению идут с задержкой на две-три секунды.

Даже у звука и света есть ограничения в скорости.

*Ещё одна трудность — рассказчик. Кто, что, где, когда и почему. Его личный настрой и пристрастия. Как он передаёт факты. Какой из него **посредник**, как это называется у журналистов. Как он умеет подать материал, поскольку правильно поданный материал — это всё.*

Рассказ в рассказе.

Эту историю я рассказываю кусками — каждый раз в новом кафе. Я пишу эту книгу по главам, главу за главой — каждый раз в новом месте, в новом городе, или в маленькой деревушке, или просто на съезде с шоссе где-нибудь в чистом поле.

Эти места объединяет одно — чудеса. Чудеса типа тех, о которых обычно пишут в бульварных изданиях, все эти чудесные исцеления и видения, о которых не упоминают в серьёзной прессе.

На этой неделе мы имеем Святую Деву Уэлбурнскую, соответственно в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. На прошлой неделе она спустилась с небес и пролетела над главной улицей этого самого Уэлбурна. Её двухцветные, чёрные с рыжим, короткие дреды развевались по ветру, у неё были грязные ноги, а одета она была в длинную хлопчатобумажную юбку в индейском стиле, светлых и тёмных оттенков коричневого, и джинсовую маечку на бретельках. Читайте последний номер еженедельника «Чудеса со всего света»; у каждой кассы в любом супермаркете в Америке. Там всё подробно описано.

И вот я здесь, с опозданием на неделю. Всегда отставая на шаг. Задним числом.

Ногти у Летучей Девы были ядовито-розовыми, с яркими белыми кончиками. Французский маникюр, как это назвали некоторые очевидцы. При ней был аэрозольный баллончик от тараканов и прочих вредных насекомых, марки «Жуков нам не надо», и на ясном нью-мексиканском небе она написала:

ПЕРЕСТАНЬТЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ

(sic)

Баллончик «Жуков нам не надо» она уронила. Сейчас он уже на пути в Ватикан. На предмет экспертизы. На месте события уже продают открытки. И даже видео.

Почти всё, что уже есть в продаже, сделано задним числом. Поймано. Умерщвлено. И сварено.

На сувенирных видеокассетах Летучая Дева трясёт в руках аэрозольный баллончик. Пролетая над Главной улицей, машет рукой толпе. Видно, что подмышки она не бреет. За пару секунд до того, как она начинает писать на небе, ветер задирает ей юбку, и все узнают, что Летучая Дева не носит трусиков. Между ног у неё гладко выбрито.

Я пишу этот кусок прямо здесь, в придорожной кафешке. Пишу, параллельно беседуя с очевидцами чуда в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. Сержант тоже здесь, со мной. Стреляный воробей, ядрёный ирландский коп. На столе между нами — местная газета, сложенная вверх страницей с объявлением шириной в три колонки:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ МЕБЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «МЯГКОЕ МЕСТО»

В объявлении сказано: «Если у вас в мягкой мебели завелись ядовитые пауки, у вас есть возможность объединиться с другими такими же пострадавшими и подать коллективный иск в суд». В объявлении дан телефон, по которому нужно звонить, но звонить бесполезно.

Кожа на шее Сержанта какая-то странная: если его ущипнуть, а потом убрать пальцы, то кожа так и останется защемлённой. Ему нужно идти искать зеркало и специально разглаживать кожу в том месте, где его ущипнули.

На шоссе за окном кафешки полно машин — люди всё ещё едут в город. Они преклоняют колени и молятся о новом явлении Пречистой Девы. Сержант сложил вместе ладони в огромных перчатках и делает вид, что молится. При этом он искоса смотрит в окно, его кобура расстёгнута, пистолет заряжен и готов к разминочной стрельбе по тарелочкам.

Закончив расписывать небо, Летучая Дева послала толпе воздушный поцелуй. Изобразила пальцами знак мира. Проплыла в воздухе у самых верхушек деревьев, придерживая юбку одной рукой, потрянула своими чёрно-рыжими дредами, помахала рукой на прощание и — аминь. Улетела за горы, за горизонт. Улетела совсем.

И всё же: не стоит верить всему, что пишут в газетах.

Летучая Мадонна — это было не чудо.

Это было колдовство.

Это не чудеса святых. Это тёмные чары.

И мы с Сержантом здесь не для того, чтобы дивиться на чудо чудное. У нас с ним охота — на ведьм.

И всё же: эта история не про здесь и сейчас. Я, Сержант и Летучая Дева. Элен Гувер Бойль. Это история о нас; как мы все встретились. И что нас сюда привело.

Глава вторая

Тебе задают только один вопрос. Перед тем как ты получаешь диплом журналиста, тебе предлагают такое задание: представь, что ты репортёр. Работаешь в ежедневной газете в каком-нибудь большом городе, и вот, в канун Рождества, редактор тебе говорит, что нужно сделать заметку. Несчастный случай со смертельным исходом.

Ты приезжаешь на место. Полицейские и врачи уже там. Соседи в домашних халатах и тапках толпятся у двери в квартиру, в мрачном многоквартирном доме трущобного типа. В квартире, под новогодней ёлкой, рыдают молодые родители. Их малыш подавился ёлочной игрушкой, задохнулся и умер. Ты записываешь все детали, имя ребёнка, возраст и всё такое и мчишься обратно в редакцию — время близится к полуночи, — чтобы успеть написать экстренную заметку в утренний выпуск.

Ты приносишь заметку редактору, и он говорит, что статья не пойдёт, потому что ты не указал, какого цвета была игрушка. Красная или зелёная? Посмотреть было нельзя, а спросить ты как-то не подумал.

Статья прямо просится на первую полосу, и у тебя есть выбор.

Позвонить родителям и спросить.

Или же не звонить и потерять работу.

Это пресса. «Четвёртая власть». Когда я учился на журналиста, на выпускном экзамене по этике нам задавали только этот вопрос. Вопрос или — или. Я ответил, что позвоню в полицию. Такие вещи должны быть записаны в протоколе. Игрушку должны запечатать в полиэтиленовый пакет и сфотографировать как вещественное доказательство. Ни в коем случае я не стал бы звонить родителям после полуночи в канун Рождества.

По этике я получил D, низкий, но переходный балл.

Вместо этики я научился говорить людям только то, что им хочется услышать. Я научился письменно излагать факты. И ещё я усвоил, что редакторы могут быть настоящими сволочами.

Я до сих пор не могу понять, для чего было это задание. Теперь я репортёр, в ежедневной газете в большом городе, и мне не нужно ничего представлять.

Мой первый реальный ребёнок был в сентябре, в понедельник утром. Не было никаких ёлочных украшений. Никто из соседей не толпился вокруг жилого трейлера в пригородной зоне. Один полицейский врач сидел с родителями на кухне и задавал им стандартные вопросы. Второй

полицейский врач отвёл меня в детскую и показал кроватку и всё, что обычно в кроватке бывает.

Стандартная процедура включает следующие вопросы: «Кто обнаружил ребёнка мёртвым?», «Когда его обнаружили мёртвым?», «Перемещали ли тело после того, как его обнаружили мёртвым?», «Когда ребёнка в последний раз видели живым?», «Ребёнок был на грудном или на искусственном вскармливании?» Вопросы кажутся беспорядочными, но врачам ничего другого не остаётся, как только копить данные для статистики и надеяться, что когда-нибудь они сложатся в систему.

Детская была выдержана в жёлто-синих тонах. Занавески в цветочек на окнах, белый плетёный комод с выдвижными ящиками — рядом с кроваткой. Белое кресло-качалка. Над кроваткой висела игрушка-мобил из жёлтых пластмассовых бабочек. На плетёном комод лежала книжка, открытая на странице 27. Синий ковёр на полу. Вышивка в рамочке на стене: *«Рождённый в четверг — далеко пойдёт»*. В комнате пахло детской присыпкой.

Может быть, я не усвоил этику, но зато я научился замечать детали. Несущественных деталей не бывает. Любая деталь достойна внимания.

Книжка, лежавшая на комод, называлась *«Стихи и потешки со всего света»*. Книга была библиотечная.

Мой редактор планировал серию из пяти репортажей СВСМ, синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают безо всякой видимой причины. Двое из каждой тысячи грудничков просто засыпают и больше не просыпаются. Мой редактор Дункан называет этот синдром «Смерть в колыбельке».

Подробности о Дункане: он весь в прыщах и угрях, и раз в две недели кожа у него на черепушке приобретает насыщенный коричневый цвет вдоль линии роста волос, когда он закрашивает седину на корнях. Пароль у него на компьютере — «пароль».

Всё, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, — что в этом явлении нет никакой системы. Большинство малышей умирают у себя в кроватках между полуночью и ранним утром, но ребёнок может умереть и когда спит в постели с родителями. Или в машине, или в коляске. Ребёнок может умереть у матери на руках.

Во многих семьях есть дети, сказал мой редактор. Эта такая тема, о которой родители-бабушки-дедушки очень боятся читать и не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового мы не напишем. Идея в том, чтобы дать краткий очерк пяти семей, потерявших ребёнка. Показать, как люди справляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Ничего

нового мы не напишем, что касается фактической стороны смерти в колыбельке; но мы можем вдавить по эмоциям. Показать, сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди. Под таким вот углом. Подобные репортажи, без привязки к каким-то громким событиям, мы называем «тихими новостями». Они пойдут центральной темой в раздел «Стиль жизни».

В качестве иллюстрации можно дать фотографии улыбающихся здоровых детишек, которые теперь мертвы.

Мы покажем, что это может случиться с каждым.

Вот такая была у него задумка. Обычно подобного рода исследования делаются «по заказу редакции». Был конец лета, с новостями было туговато. Это был тот период, на который приходится ежегодный пик рождаемости.

Идея редактора заключалась в том, чтобы я скооперировался с врачами, которые производят медицинскую экспертизу в случае беспричинной смерти грудных детишек.

Рождественская история, рыдающие родители, ёлочная игрушка — я уже столько лет работаю репортёром, что давно позабыл эту байду.

Гипотетическая ситуация на выпускном по этике. Этот вопрос задают в конце курса по журналистике именно потому, что тогда уже поздно его задавать. Ты уже заплатил за обучение. Только годы спустя я понял, что нас спрашивали о другом: *Ты уверен, что это действительно именно то, чем тебе хочется заниматься в жизни?*

Глава третья

Приглушённый гул диалога проходит даже сквозь стены, потом — взрыв смеха. Потом — опять диалог. Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятих. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвы.

Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Ритм изменяется. Удары становятся чаще, как будто сходятся вместе, удары становятся реже, как будто расходятся в стороны, но они не прекращаются.

Внизу кто-то поёт. То есть даже не поёт, а выкрикивает слова песни. Все эти люди, которым необходимо, чтобы у них постоянно орал телевизор. Или радио, или проигрыватель. Все эти люди, которых пугает тишина. Это мои соседи. Звуко-голики. Тишина-фобы.

Смех мёртвых проходит сквозь стены.

Это то, что сейчас называется «дом, милый дом».

Звуковая осада.

После работы я заглянул в магазин. Когда я вошёл, продавец встрепенулся. Не сводя с меня глаз, он пошарил рукой под прилавком с кассой и достал свёрток из плотной коричневой бумаги.

— Я положил в два пакета. Думаю, вам понравится.

Он положил свёрток на прилавок и любовно погладил его рукой.

Свёрток размером в половину обувной коробки. Весит меньше, чем банка с консервированным тунцом.

Он нажимает одну, вторую, третью кнопку на кассе. В окошке высвечивается цена. Сто сорок девять долларов. Он говорит:

— Чтобы вы не волновались, я замотал оба пакета скотчем.

На случай, если вдруг будет дождь, он убирает свёрток в пластиковый пакет и говорит:

— Если чего-то вдруг не хватает, вы мне скажите. — Он говорит: — А вы всё так и хромаете. Не проходит нога?

Всю дорогу домой пакет шуршал у меня в руках. Бумага скользила и морщилась. Я шёл прихрамывая, и с каждым шагом содержимое свёртка перекачивалось в коробке.

У меня дома: потолок дрожит от громкой ритмичной музыки. Стены вибрируют от взвинченных голосов. То ли исполнилось древнеегипетское проклятие и какая-то мумия ожила и теперь убивает соседей, то ли они

смотрят фильм.

Внизу кто-то орёт благим матом, лает собака, хлопают двери, опять же, грохочет музыка.

Я иду в ванную, но не включаю свет. Чтобы не видеть, что в свёртке. Чтобы не знать, что это. В тесной густой темноте я затыкаю полотенцем щель под дверью. Держа свёрток на коленях, я сижу на унитазе и слушаю.

Это то, что сейчас называется цивилизацией.

Люди, которые никогда не выбросят мусора из машины, врубают радио на полную мощность. Люди, которые в переполненном ресторане никогда не выдохнут сигаретный дым тебе в лицо, истошно орут в свои мобильные телефоны. Они кричат, как в лесу, разговаривая друг с другом через столик в кафе.

Люди, которые никогда не разбрызгают гербициды и инсектициды, почему-то считают вполне допустимым поганить окрестности громкой музыкой. Шотландские волынки. Китайская опера. Кантри и фолк.

Когда за окном поют птицы, это нормально. Когда Патси Клайн — уже нет.

Шум машин за окном — это уже неприятно. И от концерта в ре-миноре для фортепьяно Шопена легче не станет.

Ты делаешь музыку громче, чтобы заглушить шум. Соседи делают музыку громче, чтобы заглушить твою музыку. Ты опять делаешь музыку громче. Все покупают стереосистемы, стараясь выбрать, которая помощнее. Это гонка вооружения в войне звука. Но утроенная мощность не приносит тебе победы.

Речь не о качестве звука. Речь о громкости.

Речь не о музыке. Речь о победе.

Ты включаешься в состязание, врубая басы. От твоей музыки дрожат стёкла. Тебя не волнует мелодия, ты выкрикиваешь слова. Ты используешь ненормативную лексику и повышаешь голос на каждом матерном слове.

Ты берёшь верх. На самом деле речь о том, кто сильнее.

В тёмной ванной, сидя на унитазе, я отдираю ногтями скотч с одного конца свёртка. Внутри — картонная коробка, квадратная, гладкая, мягкая, с истёртыми краями. Уголки тоже стёрты и продавлены внутрь. Я поднимаю крышку, и то, что внутри, оказывается на ощупь набором острых и твёрдых деталей замысловатой формы. Крошечные уголки, изгибы и зазубренные края. Я выкладываю содержимое на пол, в темноте. Пустую коробку я убираю обратно в бумажные пакеты. Между слоями твёрдых деталей — листы тонкой мягкой бумаги. Я убираю в пакеты и эту бумагу тоже. Потом сминаю пакеты вместе с картонной коробкой в плотный шуршащий шар.

Всё это я делаю в темноте. Вслепую. Прикасаюсь к гладкой бумаге, перебираю слои твёрдых деталей с разными вогнутостями и выпуклостями.

Пол у меня под ногами и даже сиденье унитаза слегка подрагивают от соседской музыки.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребёнка: придумайте себе хобби. Удивительно, как быстро ты учишься отгораживаться от прошлого, когда тебе есть чем занять руки и голову. Пережить можно всё — даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то, что будет тебя отвлекать. Попробуйте вышивать. Или мастерить абажуры из цветного стекла.

Я сгребая детали и отношу их в кухню. При свете они голубые, синие, серые и белые. Хрупкая твёрдая пластмасса. Крошечные кусочки. Кровельная дранка, ставни на окна, панели для стен. Крошечные ступеньки, колонны и оконные рамы. Пока не понятно, что это: жилой дом или больница. Крошечные кирпичные стены и двери. Разложенные на кухонном столе, это могут быть детали для школы или для церкви. Без коробки с картинкой, без инструкции по сборке эти крошечные водосточные трубы и мансардные окна могут быть материалом для железнодорожной станции или для психбольницы. Для фабрики или для тюрьмы.

Не важно, как их собрать — ты всё равно не узнаешь, правильно или нет.

Крошечные детали, трубы и купола, они легонько подрагивают при каждом ударе звука, что идёт от соседей снизу.

Эти музыка-голики. Эти тишина-фобы.

Никто не хочет признать, что мы подсели на музыку, как на наркотик. Так не бывает. Никто не подсаживается на музыку, на телевизор и радио. Просто нам нужно больше: больше каналов, шире экран, громче звук. Мы не можем без музыки и телевизора, но нет — никто на них не подсел.

Мы можем выключить музыку и телевизор, когда захотим.

Я вставляю оконную раму в кирпичную стену. Малюсенькой кисточкой, как от лака для ногтей, я приклеиваю её на место. Окно размером с ноготок. Клей пахнет, как лак для волос. Запах похож на смесь апельсина с бензином.

Узор из кирпичиков на стене — мелкий, как отпечатки пальцев.

Второе окошко встаёт на место, и я окунаю кисточку в клей.

Звук сотрясает стены, проходит вибрацией по столу, по оконной раме — мне в палец.

Они отвлекают внимание. Они боятся сосредоточиться.

Джордж Оруэлл ошибался.

Большой Брат не следит за тобой. Большой Брат поёт и пляшет. Достает белых кроликов из волшебной шляпы. Всё время, пока ты не спишь, Большой Брат развлекает тебя, отвлекая внимание. Он делает всё, чтобы не дать тебе время задуматься. Он делает всё, чтобы тебя занять.

Он делает всё, чтобы твоё воображение чахло и отмирало. Пока окончательно не отомрёт. Превратиться в бесполезный придаток типа аппендикса. Большой Брат следит, чтобы ты не отвлекался на что-то серьёзное.

Но лучше бы он следил за тобой, потому что это значительно хуже — когда в тебя столько всего пихают. Когда столько всего происходит вокруг, тебе уже и не хочется думать самостоятельно. Ты уже не представляешь угрозы. Когда воображение атрофируется у всех, никому не захочется переделывать мир.

Я расстёгиваю пуговицу на рубашке и запихиваю галстук внутрь, чтобы он не мешался. Крепко прижав подбородок к груди, я подцепляю пинцетом крошечные оконные стёкла и вставляю их в рамы. Опасной бритвой я обрезаю пластмассовые занавески до размеров меньше почтовой марки. Синие занавески — на второй этаж, жёлтые занавески — на первый. Кое-где занавески раздвинуты, кое-где плотно задёрнуты. Я приклеиваю их на место.

В мире есть вещи страшнее, чем пережить смерть жены и ребёнка.

Например, наблюдать, как тот же мир отбирает их у тебя. Наблюдать, как стареет жена. Как ей становится скучно жить. Как твои дети потихонечку узнают всё, от чего ты пытался их оградить. Наркотики, развод, общепринятые нормы, болезни. Все эти хорошие добрые книжки, музыка, телевизор. Непрестанные развлечения, отвлекающие внимание.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребёнка: живите дальше. И вините себя.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее. Например, безучастно стоять в сторонке, пока их убивает мир. Просто читать газету. Так чаще всего и бывает.

Смех и музыка разъедают мысли. Шум их заглушает. Всякий звук отвлекает внимание. Не даёт сосредоточиться. От клея болит голова.

Все наши мысли — уже чужие. Потому что сосредоточиться невозможно. Просто сесть и спокойно подумать — не получается. Какой-нибудь шум обязательно просочится. Певцы надрываются. Мертвецы смеются. Актёры рыдают в голос. Все эти эмоции малыми дозами.

Кто-нибудь обязательно распыляет в воздухе своё настроение.

Магнитолы в машинах расплёскивают по округе чьё-то горе, чью-то злость или радость.

Особняк в голландском колониальном стиле. Я приклеил пятьдесят шесть окон вверх ногами, и мне пришлось его выкинуть. Замок в стиле Тюдоров на двенадцать спален. Я прикрепил водосточные трубы не там, где нужно, и расплавил пластмассовые фронтоны, пытаясь растворить клей химическим растворителем.

Всё это не ново.

В Древней Греции люди считали, что мысли — это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что её ниспослали боги. Какой-то конкретный бог или богиня. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым. Афина — что нужно влюбиться.

Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать; но это теперь называется свободой выбора.

Древние греки по крайней мере не лгали себе.

А правда — она простая. Даже если однажды вечером ты читаешь жене и ребёнку вслух. Читаешь им колыбельную. А наутро ты просыпаешься, а твоя семья — нет. Ты лежишь в постели, прижавшись к жене. Она ещё тёплая, но уже не дышит. Твоя дочка не плачет. Дом уже лихорадит от шума движения за окном, от воплей соседского радио, от горячего пара, заключённого в трубах внутри стены. Правда в том, что можно забыть даже этот день — забыть на те пару минут, пока ты завязываешь перед зеркалом галстук.

Я это знаю. Это моя жизнь.

Можно переехать, сменить квартиру, но этого мало. Надо, чтобы у тебя было какое-то хобби. Чтоб занять руки и голову. Нужно по уши уйти в работу. Сменить имя. Собрать всё воедино — пусть даже топорно и кое-как. Сотворить порядок из хаоса. Каждый раз заново — когда у тебя не болит нога и когда есть деньги. Нужно организовать свою жизнь. До мельчайших деталей.

Это не то, что советуют психотерапевты. Но оно помогает.

Потом ты приклеишь к стенам двери. А стены приклеишь к фундаменту. Ты собираешь пинцетом крошечные кусочки каждой печной трубы, и пока клей подсыхает, ты делаешь крышу. Навешиваешь водосточные трубы. Все детали аккуратно подогнаны. Ты вставляешь мансардные окна. Крепишь ставни. Оформляешь крыльцо. Засеваешь лужайку. Сажаешь деревья.

Вдыхаешь запах апельсинов с бензином. Запах лака для волос. Ты

полностью сосредоточен на том, что делаешь. Ты обклеиваешь трубу крошечными побегамии плюща. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев. Пальцы липнут друг к другу.

Ты говоришь себе: шум — это то, чем определяется тишина. Без шума мы не ценили бы тишину. Шум — исключение из правил. Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине, где тебя ждут жена и ребёнок. Мне не нужны небеса. Тишина — вот желанная награда.

Берёшь пинцет и сажаешь цветы вдоль фундамента.

Вытянув шею, ты наклоняешься над столом. Задница напряжена, позвоночник согнулся дугой. Верхний конец дуги упирается в боль в основании черепа.

Клеишь крошечный коврик на крыльце у передней двери. «Добро пожаловать». Над дверью подвешиваешь фонарик. Рядом с дверью — почтовый ящик. На крыльце расставляешь совсем уже крошечные бутылочки с молоком. Рядом кладёшь сложенную газету.

Когда всё готово — всё идеально, правильно и аккуратно, — уже глубокая ночь. Наверное, три часа ночи, если вообще не четыре утра — потому что вокруг всё тихо. Пол, стены и потолок уже не дрожат. Даже мотор в холодильнике не гудит, и поэтому слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке. Мотылёк бьётся в окно с той стороны. Ты видишь пар от своего дыхания — так холодно в кухне.

Ты подключаешь маленькую батарейку и тянешь за рычажок — свет зажигается в крошечных окнах. Ты ставишь домик на пол и выключаешь верхний свет.

Стоишь над домиком в темноте. Отсюда, с такой высоты, он смотрится безукоризненно. Замечательный дом. Надёжный и безопасный. Счастливый. Аккуратный кирпичный домик. Свет из крошечных окон озаряет цветы на лужайке. Светятся занавески. Жёлтые занавески — в детской. Синие — в нашей спальне.

Хороший способ забыть о целом — пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли — сосредоточиться на мелочах.

Вот так и надо смотреть на Бога.

Как будто всё хорошо.

Теперь надо снять туфлю и наступить на всё это босой ногой. Потом ещё раз, и ещё, и ещё. Не важно, что это больно: ломкая пластмасса с острыми сколами, дерево и стекло. Давить и давить, со всей силы, пока сосед снизу не начинает стучать кулаком в потолок.

Глава четвёртая

Мой второй случай смерти в колыбельке — в большом блочном многоквартирном доме на окраине центра. Несчастье случилось под вечер, ребёнок умер прямо на детском высоком стульчике в кухне. Когда я приехал, нянька рыдала в спальне. В раковине на кухне была гора грязной посуды.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

— Раковина одинарная или двойная?

Ещё одна подробность о Дункане: он плюётся, когда разговаривает.

Двойная, говорю я ему. Нержавеющая сталь. Отдельные краны на горячую и холодную воду, ручки кранов фаянсовые. Насадки-рассекателя нет.

И Дункан говорит:

— Марка холодильника?

Крошечные капельки его слюны мерцают в резком электрическом свете.

Я говорю: «Амана».

— Есть у них календарь?

Слюна Дункана брызжет мне на руку и на щёку. Работает кондиционер, и слюна кажется очень холодной.

Есть, говорю я ему. С изображением старой каменной мельницы — такой, которая с водяным колесом. Подарок от страхового агента. В календаре был отмечен день, когда вести малыша в поликлинику. И день защиты диплома по общеобразовательной подготовке у мамы. У меня записаны обе даты и фамилия детского врача.

И Дункан говорит:

— Чёрт, отлично работаешь.

Его слюна высыхает у меня на коже и на губах.

На полу в кухне был серый линолеум. Розовый кухонный гарнитур, прожжённый в некоторых местах сигаретой. На столике рядом с раковиной лежала библиотечная книжка. *«Стихи и потешки со всего света»*.

Книга была закрыта, но когда я её приоткрыл и дал ей свободно упасть на стол вверх обложкой — в надежде, что книга сама раскроется на странице, до которой её дочитали, — она раскрылась на странице 27. Я взял карандаш и поставил галочку на полях.

Мой редактор хитро прищуривает один глаз.

— А остатки какой еды, — говорит, — были на грязной посуде в раковине?

Спагетти, говорю я. С томатным соусом. Соус с грибами и чесноком. Я проверил мусорную корзину под раковиной.

Двести миллиграммов соли на порцию. Сто пятьдесят килокалорий. Я сам не знаю, чего ожидал найти. Может быть, что-то, что помогло бы понять причину.

Дункан говорит:

— Видел? — и показывает мне гранки сегодняшнего ресторанного раздела. Объявление бросается в глаза сразу. Шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов. Заголовок большими буквами:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КЛУБНОГО РЕСТОРАНА

«ТЁМНЫЙ БОР»

В самом объявлении сказано: «Отобедав в указанном ресторане, вы заразились синдромом хронической усталости, не поддающимся никакому лечению? Этот вирус, передающийся через пищу, лишил вас возможности продуктивно работать и жить нормальной жизнью? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Указанный телефон начинается с какого-то непонятного длинного кода. Наверное, это мобильный номер.

Дункан говорит:

— Как ты считаешь, из этого можно состряпать статью? — И на листе остаются влажные точки его слюны.

У меня библикает пейджер. Это полицейские врачи.

На факультете журналистики нас учили, что репортёр должен быть как объектив фотокамеры. Вышколенный, объективный и беспристрастный профессионал. Точный, надёжный и наблюдательный.

Нас учили, что то, что ты пишешь, — это всегда отдельно от тебя. Убийцы и репортёры взаимно исключают друг друга. О чём бы ты ни писал, ты пишешь не о себе.

Мой третий мёртвый ребёнок — на ферме в двух часах езды от города.

Четвёртый — в кооперативном доме рядом с торговым центром.

Полицейский врач ведёт меня в детскую и говорит:

— Наверное, вас зря сюда вызвали. — Его зовут Джон Нэш, и он убирает простыню, которой укрыто тело ребёнка. Маленький мальчик — слишком спокойный, слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать. Нэш говорит: — Ему почти шесть.

Подробности о Нэше: это здоровый такой мужик в белом халате. Он носит высокие белые ботинки на толстой подошве, а волосы убирает в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

— Нам бы в Голливуде работать, — говорит Нэш. — В такой чистой бескровной смерти нет ни уродства, ни боли, и обратной перистальтики тоже нет — когда в предсмертной агонии пищеварительная система начинает работать наоборот и тебя рвёт фекалиями. Когда ты блюёшь дерьмом, — поясняет Нэш. — Очень реалистичная сцена смерти.

Он мне рассказывает про смерть в колыбельке. Чаще всего это случается в возрасте от двух до четырёх месяцев. Более девяноста процентов всех смертей происходят до полугода. После десяти месяцев — это уже редкое исключение. После года в свидетельстве о смерти ребёнка пишут: причина не установлена. Вторая такая же смерть в семье считается убийством, пока не будет доказано обратное.

В квартире в кооперативном доме обои на стенах зелёные. В детской кроватке фланелевое бельё с рисунком из скотчтерьерчиков. В квартире пахнет аквариумом с ящерицами.

Когда ребёнку к лицу прижимают подушку, судебные медики называют такое убийство «мягким».

Мой пятый мёртвый ребёнок — в отеле у аэропорта.

Книга была и на ферме, и в кооперативном доме. «Стихи и потешки...» Та же самая библиотечная книга с моей галочкой на полях. В отеле я её что-то не нахожу. Это номер с двухспальной кроватью. Ребёнок лежит, скорчившись на односпальной кровати рядом с кроватью, где спали родители. На полке во встроенном шкафу — цветной телевизор, 36-дюймовый «Зенит» с пятьюдесятью шестью кабельными каналами. Плюс четыре канала местного телевидения. Ковёр на полу коричневый, занавески — коричневые с голубыми цветами. На полу в ванной — влажное полотенце, испачканное кровью и зелёным гелем для бритья. Кто-то не спустил унитаз.

Покрывала на кроватях тёмно-синие и прокурены сигаретным дымом.

Книги не видно.

Я спрашиваю офицера, что родители забирали из номера, и он говорит: вроде бы ничего. Но приходил человек из собеса и забрал кое-какую одежду.

— Да, и ещё, — говорит офицер, — какие-то библиотечные книжки.

Глава пятая

Передняя дверь открывается, и на пороге стоит женщина. Она держит у уха мобильник. Улыбается мне, но говорит с кем-то другим.

— Мона, — говорит она в трубку, — ты давай там побыстрее. Мистер Стрейтор уже пришёл.

Она поднимает свободную руку, демонстрируя мне часы у себя на запястье, и говорит в трубку:

— Он минут на пять раньше. — Её другая рука с длинными яркорозовыми ногтями с ослепительно белыми кончиками и маленький чёрный мобильник у уха почти не видны в искрящемся розовом облаке пышных волос.

Улыбаясь, она говорит:

— Расслабься, Мона, — и комментирует, глядя на меня: — Коричневый спортивный пиджак. Коричневые брюки. Белая рубашка. — Она хмурится и кривит губы. — И синий галстук.

Она говорит в трубку:

— Средних лет. Рост пять футов и десять дюймов, вес... фунтов сто семьдесят. Белый. Шатен, зелёные. — Она слегка морщится в мою сторону. — Причёска малость в беспорядке, и он сегодня не брился, но в целом вид у него безобидный.

Она слегка подаётся вперёд и произносит одними губами: *моя секретарша*.

В трубку она говорит:

— Чего?

Она отступает в сторону и машет мне свободной рукой, чтобы я заходил. Она поднимает голову, ловит мой взгляд и говорит:

— Спасибо, Мона, за заботу, но я не думаю, что мистер Стрейтор будет меня насиловать.

Мы в особняке Гартоллера на Уолкер-Ридж-драйв. Дом в старинном английском стиле. Восемь спален, семь ванных, четыре камина, большая столовая для приёмов, малая столовая, балый зал площадью в полторы тысячи квадратных футов на четвёртом этаже. Отдельный гараж на шесть автомобилей и гостевой домик в саду. Открытый бассейн. Пожарная сигнализация и охранная система.

Уолкер-Ридж-драйв расположен в районе, где мусор вывозят пять раз в неделю. Здесь живут люди, которые понимают опасность хорошей

судебной тяжбы, и когда ты приходишь и называешь себя, они улыбаются и соглашаются.

Особняк Гартоллера очень красивый.

Эти люди не пригласят тебя в дом. Они будут стоять в дверях и улыбаться. А если ты спросишь, они тебе скажут, что не знают истории этого дома. Это просто дом.

Если ты будешь настаивать, они поглядят на пустынную улицу поверх твоего плеча, опять улыбнутся и скажут: «Ничем не могу вам помочь. Позвоните риэлтору».

На доме № 3465 по Уолкер-Ридж-роуд висит скромная табличка: «Бойль. Продажа недвижимости». Приём только по предварительной записи.

Ещё в одном доме мне открывает женщина в форменном платье горничной. Девочка лет шести робко выглядывает из-за её чёрной юбки. Горничная качает головой и говорит, что вообще ничего не знает.

— Позвоните риэлтору, — сказала она. — Элен Бойль. Там есть телефон.

А девочка сказала:

— Она злая колдунья.

И горничная закрыла дверь.

И вот теперь, в особняке Гартоллера, Элен Гувер Бойль проходит по гулким пустым белым комнатам. Она всё ещё говорит по мобильному. Облако пышных розовых волос, розовый костюм в обтяжку, белые чулки, розовые туфли на среднем каблуке. Густая ярко-розовая помада. Искрящиеся золотые и розовые браслеты позвякивают на руках: золотые цепочки, монетки и амулеты.

Хватит, чтобы украсить немаленькую новогоднюю ёлку.

Крупный жемчуг. Таким подавился бы даже конь.

В трубку она говорит:

— Ты не звонила новым хозяевам Эксетер-Хауз? Они должны были в ужасе съехать оттуда ещё две недели назад.

Сквозь высокие двойные двери она проходит в другую комнату и в другую за ней.

— То есть, — говорит она в трубку, — что ты имеешь в виду: они там не живут?

Высокие арочные окна выходят на каменную террасу. За террасой — стриженная полосами лужайка. За лужайкой — бассейн.

В трубку она говорит:

— Так не бывает, чтобы люди купили дом за миллион двести и там не

живут. — В этих комнатах без мебели и ковров её голос кажется громким и резким.

Маленькая белая с розовым сумочка на длинной золотой цепочке — через плечо.

Пять футов шесть дюймов — рост. Сто восемнадцать фунтов — вес. Сложно сказать, сколько ей может быть лет. Она такая худая, что она либо при смерти, либо очень богата. Её костюм пошит из какой-то узловатой отделочной ткани и украшен белой плетёной тесьмой. Он розовый, но не креветочно-розовый, а розовый, как креветочный паштет, сервированный на хрустящих хлебцах с веточкой петрушки и капелькой чёрной икры. Короткий пиджак облегает хрупкую талию, а широкие набивные плечи кажутся почти квадратными. Юбка короткая и обтягивающая. Огромные золотые пуговицы.

Она носит кукольную одежду.

— Нет, — говорит она в трубку. — Мистер Стрейтор тут, рядом. — Она поднимает тонкие брови, подведённые карандашом, и смотрит на меня. — Я трачу зря время? — говорит она в трубку. — Надеюсь, что нет.

Улыбаясь, она говорит в трубку:

— Хорошо. Вот он мне показывает, что нет.

Мне интересно, почему она сказала, что я *средних лет*.

Сказать по правде, говорю я ей, я не собираюсь покупать недвижимость.

Она показывает на меня двумя пальцами с яркими розовыми ногтями и произносит одним губами: *ещё минуточку*.

На самом деле, говорю я, я нашёл её имя в протоколах, в конторе у окружного coronera. На самом деле я просмотрел все судебно-медицинские протоколы за последние двадцать пять лет на предмет смертей в колыбельке.

Слушая, что говорят ей по телефону, не глядя на меня вообще, она кладёт свободную руку на отворот моего пиджака и легонько отталкивает меня, но при этом не убирает руки. В трубку она говорит:

— Ну и в чём проблема? Почему они там не живут?

Я смотрю на её руку вблизи. Судя по этой руке, ей хорошо за тридцать. Может быть, даже чуть-чуть за сорок. И всё-таки эта таксидермическая холеность, которая сходит за красоту после определённого возраста и при определённых доходах, для неё несколько старовата. Её кожа уже смотрится тщательно отшелушённой, протонизированной, увлажнённой и вообще какой-то искусственной. Как будто заново отполировали старую потускневшую мебель. Свежая полировка. Новая розовая обивка.

Отреставрировано. Обновлено.

Она кричит в трубку мобильного:

— Ты что, так шутишь?! Да, я знаю, что значит под снос! Но это же историческая постройка!

Она поднимает плечи, прижимая их плотно к шее, и медленно опускает. Потом на миг отнимает телефон от уха, закрывает глаза и вздыхает.

Она слушает, что ей говорят, и её ноги в розовых туфлях и белых чулках отражаются в перевернутом виде в тёмном зеркале отполированного паркета. В глубине отражения видна тень у неё под юбкой.

Она прижимает свободную руку ко лбу и говорит:

— Мона. — Она говорит: — Мы не можем позволить себе потерять этот дом. Если они его перестроят, его можно списывать вообще.

Потом она опять замолкает и слушает.

А мне интересно, почему нельзя носить синий галстук с коричневым пиджаком?

Я опускаю глаза и ловлю её взгляд. Я говорю: миссис Бойль? Мне нужно было с ней встретиться в частном порядке, не у неё в конторе. Это касается серии моих статей.

Но она машет рукой. Сейчас она занята. Она подходит к камину, проводит свободной рукой по каминной полке и шепчет:

— Когда они будут его сносить, соседи будут стоять на улице и рыдать от счастья.

Из этой комнаты есть проход в ещё одну белую комнату с тёмным паркетом и белым потолком с замысловатой лепниной. С другой стороны — тоже дверь. За ней — комната с пустыми белыми книжными полками во всю стену.

— Может быть, мы *устроим* какой-нибудь марш протеста, — говорит она в трубку. — Разошлём письма в газеты.

И я говорю, что я из газеты.

Запах её духов — смесь запаха кожи в салоне автомобиля, увядших роз и кедровой древесины.

И Элен Гувер Бойль говорит:

— Мона, минуточку подожди.

Она подходит ко мне и говорит:

— Что вы сказали, мистер Стрейтор? — Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она ждёт. У неё голубые глаза.

Я репортёр из газеты.

— Эксетер-Хауз — очень красивый дом. *Исторический* дом, который

хотят снести, — говорит она, прикрывая рукой телефон. — Семь спален, шесть тысяч квадратных футов. Весь первый этаж отделан панелями из вишнёвого дерева.

В пустой комнате так тихо, что слышен голос в телефоне:

— Элен?

Она закрывает глаза и говорит:

— Его построили в 1935-м. — Она запрокидывает голову. — Автономное паровое отопление, участок 2,8 акра, черепичная крыша...

Голос в телефоне:

— Элен?

— ...игровая комната, — говорит она, — буфетная с баром, домашний тренажёрный зал...

Проблема в том, что у меня не так много времени. Всё, что мне нужно знать, говорю, это — были ли у вас дети?

— ...кладовая при кухне, — говорит она, — малая холодильная камера...

Я говорю: был у вас маленький сын, который умер по непонятной причине лет двадцать назад?

Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она говорит:

— Прошу прощения?

Мне нужно знать, читала она своему сыну вслух или нет. Его звали Патрик. Мне нужно найти и собрать все существующие экземпляры определённой книги.

Прижимая телефон к уху подбитым плечом пиджака, Элен Бойль открывает свою белую с розовым сумочку и достаёт пару белых перчаток. Надевая перчатки, она говорит в трубку:

— Мона?

Мне нужно знать, может быть, у неё до сих пор сохранилась та книжка. Мне очень жаль, но я не могу ей сказать зачем.

Она говорит:

— Боюсь, мистер Стрейтор не сможет быть нам полезным.

Мне нужно знать, делали её сыну вскрытие или нет.

Она улыбается мне. И произносит одними губами: *уходите*.

Я поднимаю руки, ладонями к ней, и пячусь к двери.

Просто мне нужно быть твёрдо уверенным, что все экземпляры той книги будут уничтожены.

И она говорит:

— Мона, пожалуйста, позвони в полицию.

Глава шестая

Когда случается смерть в колыбельке, нужно как-то донести до сознания родителей, что они ни в чём не виноваты. Дети не задыхаются в одеяльце. В 1945 году в журнале «Педиатр» была статья под названием «Механическое удушение в младенчестве», и автор доказывал, что это физически невозможно — чтобы грудной младенец задохнулся в постели. Даже новорождённые, если их положить личиком вниз на подушку или матрас, всё равно рефлекторно перевернутся так, чтобы можно было свободно дышать. Даже если ребёнок немного простужен или гриппует, нет никаких доказательств, что болезнь как-то связана с внезапной смертью. Нет никаких доказательств, что прививки от дифтерита, коклюша или столбняка как-то связаны с СВСМ. Даже если ребёнок только что был у врача, он всё равно может умереть.

Кошки не садятся детям на грудь и не высасывают их жизнь.

Всё, что мы знаем, — что мы ничего не знаем.

Нэш, полицейский врач, показывает мне лиловые синяки на телах всех детей, *livor mortis*, где окисленный гемоглобин оседает в самых нижних частях тела. Кровавая пена, что идёт изо рта и из носа — медики называют её «очищающими водами», — это естественный компонент разложения. Те, кто отчаянно ищет ответ, смотрят на *livor mortis*, на очищающие воды и даже на сыпь от пелёночного дерматита и обвиняют родителей в жестоком обращении с ребёнком.

Хороший способ забыть о целом — пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли — сосредоточиться на мелочах. На фактах. Что меня больше всего привлекает в профессии репортёра — возможность спрятаться за своим блокнотом. Превратить любую беду в работу.

Книгу вернули в библиотеку. Она стоит в секции детской литературы и ждёт. «*Стихи и потешки со всего света*». На странице 27 напечатано стихотворение. Африканский народный фольклор, как сказано в книжке. Всего восемь строчек, и мне не надо его переписывать. Я уже переписал его. Когда выезжал к своему первому мёртвому малышу. В жилом трейлере в пригороде. Я вырываю страницу и ставлю книгу обратно на полку.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

— Как там твои сенсационные материалы о мёртвых детях? — Он говорит: — Я хочу, чтобы ты позвонил по этому телефону и попробовал

выяснить, что к чему. — Он протягивает мне гранки сегодняшнего раздела «Стиль жизни».

Объявление обведено красным карандашом.

Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-КЛУБА

«ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ»

В объявлении сказано: «Вы заразились грибковой инфекцией при контакте с фитнес-тренажёрами или при посещении душа? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Я набираю указанный номер, и мне отвечает мужской голос:

— «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

Мужчина на том конце линии говорит:

— Назовите, пожалуйста, своё имя и адрес для учётной регистрации. — Он говорит: — Можете описать вашу сыпь? Размер очагов. Расположение. Цвет. Глубина повреждения тканей. Всё до мельчайших подробностей.

Вы ошибаетесь, говорю я ему. У меня нету сыпи. Я звоню вовсе не для того, чтобы подать коллективный иск в суд.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Элен Гувер Бойль.

Когда я говорю, что я репортёр из газеты, мужчина на том конце линии говорит:

— Прошу прощения, но нам нельзя обсуждать это дело, пока иск не будет оформлен и передан в суд.

Я звоню в фитнес-клуб, но там тоже не расположены разговаривать. Я звоню в ресторан «Тёмный бор» из предыдущего объявления, но и там не хотят разговаривать. Номер телефона и в этом, и в том объявлении — тот же самый. Начинается с длинного мобильного кода. Я опять набираю его, и мужской голос на том конце линии говорит:

— «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

И я вешаю трубку.

На факультете журналистики нас учили, что начинать нужно с самого главного факта. Это называется опрокинутая пирамида. Кто, что, где, когда и почему должны быть в начале статьи. Дальше идут менее значимые

факты, которые следует располагать в порядке убывания значимости. Таким образом, редактор сможет легко сократить статью до нужного размера, не упустив ничего важного.

Все незначительные детали, запах покрывал на кровати, остатки еды на тарелках, цвет ёлочной игрушки — обычно всё это остаётся в корзине для мусора у редакторского стола.

Единственная система, которую можно проследить в смертях в колыбельке, — их количество возрастает осенью, когда наступают заморозки. Редактор хочет, чтобы это наблюдение появилось уже в первой статье. Нужно что-то такое, что пробудило бы в людях страх. Пять малышей, пять статей. Раз в неделю, в воскресном номере. Так, чтобы люди читали всю серию. Пять воскресений подряд. Мы можем пообещать, что рассмотрим причины синдрома внезапной смерти младенцев и попробуем проследить систему. Мы можем поддерживать в людях надежду.

Есть люди, которые всё ещё верят, что знание — сила.

Тем, кто даёт у нас объявления в воскресном номере, мы гарантируем, что объявления будут замечены читательской массой. На улице уже холодает.

Я прошу своего редактора сделать мне одно маленькое одолжение.

Мне кажется, я нашёл систему. Похоже, что всем этим детям родители на ночь читали вслух одно стихотворение. А наутро детей нашли мёртвыми.

— Всем пятерым читали? — говорит он.

Я говорю, что хочу провести один маленький эксперимент.

Время уже позднее, и мы оба устали после долгого трудового дня. Мы сидим у него в кабинете, и я прошу его меня выслушать.

Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, сидя напротив редактора — его галстук распушен, воротничок расстёгнут. Он сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула. Его рот слегка приоткрыт, его зубы и чашка с кофе — в одинаковых коричневых кофейных разводах.

Что хорошо: мы одни, и мой рассказ занимает не больше минуты.

В конце он открывает глаза и говорит:

— Ну и какого хрена всё это значит?

Дункан. У него зелёные глаза.

Холодные капли его слюны приземляются мне на руку. Крошечные переносчики микробов. Влажные дробины — переносчики вирусов.

Коричневая кофейная слюна.

Я говорю: я не знаю. В книжке её называют «баюльной песней». В некоторые древних культурах её пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Её пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук. Это колыбельная.

На факультете журналистики нас учили, что репортёру не надо оценивать факты. Не надо утаивать информацию. Его работа — *собирать* факты и информацию. То, что есть, — ни больше ни меньше. Его работа — оставаться бесстрастным наблюдателем. Теперь я знаю, что когда-нибудь ты, не задумываясь, позвонишь тем родителям в канун Рождества.

Дункан смотрит на часы, потом — на меня и говорит:

— А что там за эксперимент?

Завтра я буду знать, есть ли здесь какая-то связь. Причина и следствие. Это моя работа — писать репортажи. Я пропускаю страницу 27 сквозь бумагорезательную машину.

Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу не бьют.

Я не хочу ничего говорить, пока не буду знать наверняка. Это пока ещё гипотетическая ситуация, и я не хочу, чтобы он надо мной смеялся, мой редактор. Я говорю:

— Нам обоим надо как следует выспаться, Дункан. — Я говорю: — А утром тогда поговорим.

Глава седьмая

Когда я допиваю первую чашку кофе, Хендерсон выходит из редакции внутренних известий. Кто-то хватает пальто и устремляется к лифту. Кто-то берёт журнал и идёт в сортир. Кто-то сидит, уткнувшись в компьютер, или делает вид, что разговаривает по телефону, Хендерсон стоит в центре общего зала с распушенным галстуком и расстёгнутым воротничком и орёт:

— Где, чёрт возьми, Дункан?

Он орёт:

— Гранки уже в типографии, а где остальной материал на переднюю полосу?!

Народ пожимает плечами. Я беру телефонную трубку.

Подробности о Хендерсоне: у него светлые волосы, и он их зачёсывает набок. Он ушёл с юридического факультета, так и не доучившись. Он — главный редактор отдела внутренних известий. Он всегда в курсе прогнозов погоды, и петелька у него на пальто вечно торчит наружу. Пароль у него на компьютере — «пароль».

Он подходит к моему столу и говорит:

— Стрейтор, у тебя нет других галстуков, кроме этого кошмарного синего?

Держа трубку у уха, я произношу одними губами: *интервью*. Я спрашиваю у гудка в телефоне: первая буква «б», как в «боксе»?

Разумеется, я никому не сказал и не скажу о том, что прочёл Дункану стихотворение. Я не могу позвонить в полицию и изложить им свою теорию. Я не могу объяснить Элен Гувер Бойль, почему я расспрашиваю её о её мёртвом сыне.

Воротничок так жмёт горло, что мне приходится делать усилие, чтобы проглотить кофе.

Даже если мне кто-то поверит, первое, что он спросит: *А что за стих?*

Покажи мне. Докажи.

Вопрос не стоит: *Узнают ли люди про стихотворение?*

Вопрос стоит так: *Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем вымрет весь род людской?*

Вот — власть над жизнью и холодная, чистая, лёгкая и бескровная месть, доступная каждому. Каждому. Мгновенная, бескровная, голливудская смерть.

Даже если я буду молчать, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем «*Стихи и потешки со всего света*» включат в школьную программу? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем стихотворение со страницы 27 прочитают вслух сорока детишкам перед тихим часом?

Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем его прочитают по радио тысячам человек? Прежде чем слова положат на музыку? Переведут на другие языки?

Чёрт, его даже не нужно переводить. Грудные дети не знают речи.

Никто не видел Дункана уже трое суток. Миллер думает, что Дункану звонил Клейн. Клейн думает, что звонил Филлмор. Все уверены, что кто-то другой непременно звонил Дункану, но никто с Дунканом не разговаривал. Он не отвечает на электронную почту. Кейратерс говорит, что Дункан даже не позвонил, чтобы предупредить, что он заболел.

Чуть погодя, после второй чашки кофе, Хендерсон снова подходит ко мне с гранками раздела «Досуг и отдых». Лист сложен так, чтобы объявление сразу бросалось в глаза. Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

Хендерсон смотрит, как я завожу часы и подношу их к уху, и говорит:

— Видел, в утреннем выпуске?

В объявлении сказано:

| |
|---|
| <p>ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ ПЕРВОГО КЛАССА АВИАКОМПАНИИ «РИДЖЕНТ-ПАСИФИК ЭРЛАЙНС»</p> |
|---|

В самом объявлении сказано: «У вас началось облысение и/или у вас появились вши после контакта с обивкой кресел в салоне, пледами или подушками? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Хендерсон говорит:

— Ты ведь уже звонил, да?

А я говорю, что пусть он сам позвонит и не морочит мне голову.

А Хендерсон говорит:

— Ну, ты же у нас мистер Специальный Репортаж. — Он говорит: — У нас тут не тюрьма. И я не твоя жена, на меня орать.

Я сражён.

Ты становишься репортёром не потому, что умеешь хранить секреты.

Репортёр, журналист — это тот, кто рассказывает. Кто приносит

плохие новости. Распространяет инфекцию. Самая сенсационная новость всех времён и народов. Это может стать концом СМИ.

Баюльная песня станет чумой нашего века — века информационных технологий. Представьте мир, где люди не смотрят телевизор, не слушают радио, не ходят в кино, не лазают по Интернету, не читают газет и журналов. Они затыкают уши специальными затычками — как сейчас они надевают презервативы и резиновые перчатки. Раньше никто не боялся секса со случайными незнакомцами. А ещё раньше — укуса блохи. Пить сырую воду. Комаров. Асбеста.

Представьте себе чуму, которая передаётся на слух.

Палки и камни могут покалечить, но теперь и слова тоже могут убить.

Новая смерть, эта чума, может прийти откуда угодно. Из песни. Из случайно услышанного объявления. Из колонки новостей. Из проповеди. От уличного музыканта. Можно подхватить смерть от ведущего в телемагазине. От учителя. От интернетского файла. От поздравительной открытки ко дню рождения. От печенья с предсказанием судьбы.

Миллион человек посмотрят какое-нибудь телешоу, а наутро они все умрут, потому что посреди программы была реклама.

Представьте, какая поднимется паника.

Представьте новые Средние века. Мракобесие. Первая чума пришла в Европу из Китая по торговым путям. В век массовой информации у нас есть тысячи новых путей распространения заразы.

Представьте костры из горящих книг. В тех же кострах горят видеоплёнки и аудиокассеты, телевизоры и радиоприёмники. Библиотеки и книжные магазины полыхают в ночи. Люди идут на приступ станций радиотелевизионной связи. Люди с топорами кромсают оптоволоконный кабель.

Представьте, как люди хором распевают молитвы и гимны, чтобы заглушить всякий звук, который может нести в себе смерть. Они зажимают руками уши, они избегают речей и песен, в которых может быть зашифрована смерть — как в бутылочке с аспирином, отравленным психопатом-маньяком. Всякое новое слово. Всё незнакомое и непонятное — всё находится под подозрением, всё таит в себе опасность. Всего этого следует избегать. Гарантия против коммуникаций.

И если это действительно заклинание на смерть, магическая формула, значит, есть и другие такие же. Если я знаю про песенку на странице 27, значит, узнает и кто-то ещё. Тем более что я далеко не самый сообразительный в этом мире.

Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем кто-то внимательно разберёт эту баюльную песню и составит ещё одну вариацию, и ещё одну, и

ещё? И каждая следующая будет сильнее предыдущей. Пока Оппенгеймер не изобрёл атомную бомбу, никто и не думал, что такое возможно. Теперь мы имеем атомную бомбу, и водородную бомбу, и нейтронную бомбу, и учёные по-прежнему трудятся над созданием новых видов оружия. Нас принуждают к новому кошмару.

Если Дункан мёртв, эта была необходимая жертва. Он был моим атмосферным ядерным испытанием. Моим Тринити. Моей Хиросимой.

И всё же: Палмер из копировального отдела уверен, что Дункан у верстальщиков.

Дженкинс из цеха верстальщиков говорит, что Дункан, должно быть, в редакции искусства.

Хавли из редакции искусства говорит, что он в библиотеке.

Шотт из библиотеки говорит, что Дункан в копировальном отделе.

Это то, что сходит здесь за реальность.

Специальные службы в аэропортах заботятся о безопасности пассажиров. Представьте, что будет, когда в мир просочится баюльная песня: в библиотеках и школах, в театрах и книжных магазинах. Везде, где распространяется информация, будет дежурить вооружённый спецназ.

Радио— и телеэфир станет глухим и пустым, как публичный бассейн при эпидемии полиомиелита. Транслировать будут только редкие правительственные обращения. Только выпуски тщательно перепроверенных новостей и музыку. Всякую музыку, книгу или кино будут сначала испытывать на животных или на добровольцах, прежде чем выпускать их в широкие массы.

Вместо защитных хирургических масок люди будут носить наушники, которые будут давать им постоянную и ненавязчивую защиту в виде безопасной музыки или птичьего пения. Люди будут платить за «чистые» новости, за «безопасную» информацию и развлечения. Представьте, что книги, и музыка, и кинофильмы — всё будет тщательно фильтроваться и гомогенизироваться, наподобие того, как сейчас проверяют и подвергают соответствующей обработке молоко, мясо и кровь. Товар сертифицирован и одобрен. Пригоден к употреблению.

Люди с радостью откажутся от большей части своей культуры, лишь бы быть на сто процентов уверенными, что те кусочки, которые всё же до них дойдут, будут чистыми и безопасными.

Белый шум.

Представьте мир глухой тишины, где любой звук определённой громкости и продолжительности, способной вместить убийственное стихотворение, будет объявлен вне закона. Никаких больше мопедов и

мотоциклов, никаких газонокосилок и реактивных самолётов, никаких электрических миксеров и фенов. Мир, где люди боятся слушать, боятся услышать что-нибудь *такое* за шумом уличного движения. Ядовитые слова под прикрытием громкой музыки, играющей у соседей. Представьте всё нарастающее сопротивление языку. Никто ни с кем не разговаривает, потому что никто не решается слушать.

Блаженны глухие, ибо они унаследуют землю.

И неграмотные. И отшельники. Представьте себе мир — мир затворников.

Ещё одна чашка кофе, и мне пришлось срочно нестись в туалет отливать. Хендерсон из внутренних известий ловит меня в сортире, когда я мою руки, и что-то мне говорит.

Это может быть всё, что угодно.

Я сушу руки под электрической сушилкой и кричу ему, что ничего не слышу.

— Дункан! — кричит Хендерсон. Перекрывая шум воды и гудение сушилки, он кричит: — У нас два мёртвых тела в гостиничном номере, и не понятно, надо давать это в новости или нет. Нам нужен Дункан, чтобы он разобрался!

Наверное, именно это он и сказал. Здесь слишком шумно.

Глядя в зеркало, я поправляю галстук и провожу пятернёй по волосам. Отражение Хендерсона маячит рядом. Я могу на одном дыхании прочитать вслух баюльную песню, и уже к вечеру он навсегда исчезнет из моей жизни. Он и Дункан. Мертвы. Проще простого.

Но вместо этого я задаю вопрос: можно ли носить синий галстук с коричневым пиджаком.

Глава восьмая

Когда полицейский врач приехал на место, он первым делом позвонил своему брокеру фондовой биржи. Этот полицейский врач, мой друг Джон Нэш, быстренько оценил ситуацию в номере 17F в отеле «Прессмен» и распорядился продать все свои акции «Стюарт-Вестерн Технологиз».

— Да, меня могли попереть с работы, — говорит Нэш, — но за те три минуты, пока я звонил, два мертвеца на кровати вряд ли бы ожили, и вряд ли им стало бы хуже.

Потом он звонит мне и спрашивает, не хочу ли я дать ему пятьдесят баксов за интересную дополнительную информацию сверх официальной. Он говорит, что если у меня есть акции «Стюарт-Вестерн», надо срочно от них избавляться, а потом он ждёт меня в баре на Третьей, что рядом с больницей.

— Господи, — говорит Нэш по телефону, — эта женщина — просто красавица. То есть была красавицей. Я не знаю, был ли там Тарнер. Тарнер — это мой партнёр. — Он вешает трубку.

Согласно последним сводкам по котировке ценных бумаг, акции «Стюарт-Вестерн» уже можно спускать в унитаз. Должно быть, новость про Бейкера Льюиса Стюарта, основателя компании, и про его молодую жену Пенни Прайс Стюарт уже просочилась.

Вчера вечером, в семь часов, Стюарты поужинали в «Чешской кухне». Всё это очень легко разузнать, подмазав консьержку в отеле. По словам официанта, обслуживавшего их столик, они заказали рисотто с сёмгой и грибы «Портебелло». Из чека не ясно, кто брал грибы, а кто — рис. Они выпили на двоих бутылку чёрного «Пино». Кто-то взял на десерт творожный торт. Оба выпили кофе.

В девять вечера они поехали на вечеринку в галерею Чемберс, где, по свидетельству очевидцев, переговорили со многими из присутствующих, в том числе — с хозяином галереи и с архитектором, который занимается перестройкой их нового дома. Каждый выпил ещё по стакану вина.

В десять тридцать они вернулись в «Прессмен-отель», где проводили медовый месяц. В номере 17F.

Администратор отеля говорит, что они сделали несколько телефонных звонков между половиной одиннадцатого и полуночью. В двенадцать пятнадцать они позвонили дежурному по этажу и попросили разбудить их в восемь утра. Дежурный по этажу говорит, что они заказали в номер

кассету с порно.

На следующее утро, в девять часов, горничная обнаружила их обоих мёртвыми.

— Эмболия, я бы сказал, — говорит Нэш. — Лижешь девочке одно место, вдвухаешь ей туда воздух или пхалишь её слишком рьяно... в общем, и так, и этак, может так получиться, что ты запузыриваешь ей в кровь воздух и пузырьки постепенно доходят до сердца.

Нэш огромный и грузный. Здоровенный детина в тёплом тяжёлом пальто поверх белого халата. Он в своих неизменных белых ботинках, и когда я вхожу в бар, он уже ждёт меня у стойки. Положив оба локтя на стойку, он ест сандвич из булки с говядиной, густо политый горчицей и майонезом. Он пьёт кофе без сахара и молока. Его грязные, сальные волосы собраны в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

Я говорю: и чего?

Я спрашиваю, был ли их номер ограблен.

Нэш просто жуёт свой сандвич, сосредоточенно двигая челюстями. Он держит булку обеими руками, но смотрит мимо — на тарелку с крошками, веточками укропа и остатками картофельных чипсов.

Я спрашиваю, было ли в номере что-нибудь необычное.

Он говорит:

— Как я понимаю, раз они были молодожёны, он затрахал её до смерти, а потом у него приключился сердечный приступ. Ставлю пять баксов, что на вскрытии у неё в сердце обнаружится воздух.

Я спрашиваю, проверил ли он хотя бы по памяти в телефоне, кто им звонил последним.

И Нэш говорит:

— Невозможно было проверить. Не по телефону в отеле.

Я говорю, что за свои пятьдесят баксов я хочу получить что-нибудь существеннее его слюнотечений над мёртвым телом.

— Ты бы и сам изошёл слюной, — говорит он. — Блин, она была просто красавица.

Я спрашиваю, всё ли было на месте: ценные вещи, часы, кошельки, драгоценности.

Он говорит:

— И всё ещё тёплая, под одеялом. Вполне даже тёплая. Никакой предсмертной агонии. Ничего.

Его массивная челюсть медленно движется — он продолжает жевать, глядя в пространство перед собой.

— Если у тебя есть возможность поиметь женщину, которую ты

хочешь, — говорит он, — и поиметь её всеми способами, как ты хочешь, неужели ты ей не воспользуешься, этой самой возможностью?

Я говорю, что это будет изнасилование.

— Нет, — говорит он, — если женщина мёртвая. — Он с хрустом раскусывает картофельную чипсу. — Если бы я был один... если бы я был один и у меня был бы гондон... — говорит он с полным ртом. — Главное, чтобы потом не обнаружили мою сперму.

Потом он говорит про убийство.

— Не похоже, чтобы её убили, — говорит он и смотрит на меня. — Или убили его. У мужа очень даже аппетитная задница, если тебя заводят такие вещи. Но — вообще никаких следов. Никаких livor mortis. Никаких натяжений кожи. Ничего.

Как он может спокойно есть и говорить о таких вещах — у меня в голове не укладывается.

Он говорит:

— Они оба голые. Большое влажное пятно на матрасе, как раз между ними. Да, они именно этим и занимались. А потом умерли. — Нэш жуёт свой сандвич и говорит: — На самом деле она была лучше всех, с кем я трахался в этой жизни... даже мёртвая.

Если бы Нэш знал баюльную песню, в мире бы не осталось ни одной живой женщины. Живой или девственницы.

Если Дункан мёртв, я надеюсь, что Нэш не поедет на вызов. Может, теперь он всегда будет иметь при себе презерватив. Может, их продают в автомате в сортире у них в участке.

Я говорю: раз уж ты всё так внимательно осмотрел, может быть, ты заметил какие-нибудь синяки, укусы, следы от иголок, хоть что-нибудь?

И он говорит:

— Ничего даже похожего.

Предсмертная записка? Может быть, это самоубийство?

— Нет, — говорит он. — Никакой записки. И никаких следов насилия. Как у нас говорят, смерть безо всяких видимых причин.

Нэш переворачивает сандвич в руках и слизывает горчицу и майонез, которые вытекают с другого конца. Он говорит:

— Помнишь Джеффри Дамера. — Нэш слизывает горчицу и майонез и говорит: — Он же не намеревался никого убивать. Он просто думал, что если просверлить дырку в черепе человека и залить туда жидкость для прочистки труб, то он станет твоим секс-зомби. Дамеру просто хотелось, чтобы рядом с ним кто-то был. Кто подчинялся бы ему безраздельно и никогда бы его не покинул.

Итак, что я получу интересного за свои пятьдесят баксов?

— У меня есть только имя, — говорит он.

Я даю ему две двадцатки и десятку.

Зубами он вытаскивает из булки кусок говядины. Кусок мяса свисает ему на подбородок, а потом он запрокидывает голову и втягивает его в рот. Он говорит с полным ртом, не прекращая жевать:

— Ну да, я свинья, я знаю. — Его дыхание пахнет горчицей. Он говорит: — У них у обоих на сотовых телефонах, в истории звонков, последним стоял номер некоей Элен Гувер Бойль.

Он говорит:

— Ты скинул акции, как я тебе говорил?

Глава девятая

Это тот же самый зеркальный комод «Уильям и Мари». Согласно надписи на картонной карточке: чёрная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтоны, отделанные резьбой в виде ракушек и завитков. Наверняка тот же самый. Мы повернули направо, прошли по узкому коридору, плотно заставленному разнообразными креслами, потом опять повернули направо рядом с буфетом эпохи Регентства, потом — налево у кровати эпохи Гражданской войны, но опять вышли к тому же комоду.

Элен Гувер Бойль проводит рукой по серебряной позолоте, по тусклым придворным персидского шаха и говорит:

— Не понимаю, о чём вы.

Она убила Бейкера и Пенни Стюартов. Она им звонила на сотовые телефоны за день до того, как они оба умерли. Она прочитала обоим баюльную песню.

— Вы утверждаете, что я убила этих людей, *снев им песенку?* — говорит она. Сегодня она во всём жёлтом, но волосы у неё по-прежнему розовые. У неё жёлтые туфли, но на шее по-прежнему — золотые цепочки и яркие бусы. Она, по-моему, переборщила с пудрой. Щёки кажутся слишком румяными.

Я очень быстро выяснил, что это именно Стюарты приобрели дом на Эксетер-драйв. Красивый *исторический* дом. Семь спален и панели из вишнёвого дерева на первом этаже. Дом, который они собирались сносить и строить на его месте новый. Планы, которые так разозлили Элен Гувер Бойль.

— О господи, мистер Стрейтор, — говорит она, — вы бы себя послушали!

Мы стоим как раз посреди узкого коридора из громоздящейся мебели, который тянется на несколько ярдов в обе стороны. Дальше, за поворотом, он разветвляется на новые коридоры: кресла впритык друг к другу, притиснутые друг к другу буфеты. За рядами невысоких предметов — кресел, диванов или столов — виднеются ряды бюро и комодов, стены из напольных часов, покрытых глазурью каминных экранов и ширм, секретеров эпохи короля Георга.

Она предложила нам встретиться здесь, где нам никто не мешает, —

в огромном, складского типа магазине антиквариата. В этом лабиринте из мебели мы ходим кругами, вновь и вновь натываясь на тот же зеркальный комод «Уильям и Мари» и на тот же буфет эпохи Регентства. Мы ходим кругами. Мы заблудились.

И Элен Гувер Бойль говорит:

— А вы ещё кому-нибудь говорили про свою песню-убийцу?

Только моему редактору.

— И что на это сказал редактор?

Я думаю, что он мёртв.

И она говорит:

— Вот тебе на. — Она говорит: — Вы, наверное, очень расстроены.

Наверху, на разной высоте, висят хрустальные люстры — мутные и серые, как напудренные парики. Растрёпанные провода обвивают тусклые подвесные крюки. Обрезанные провода, пыльные мёртвые лампочки. Каждая люстра — ещё одна отрубленная аристократическая голова, подвешенная «вверх ногами» к потолочной балке. Потолок выгибается сводом, шпренгельные балки поддерживают рифлёную сталь.

— Идите за мной, — говорит Элен Бойль. — Тут легко потеряться. Я забыла, с какой стороны растёт мох на креслах: с северной или южной?

Она слюнявит два пальца и поднимает их над головой.

Изящные горки рококо, якобинские книжные шкафы, комоды в неоготическом стиле, всё — резьба и лакировка, французские платяные шкафы обступают нас со всех сторон. Застеклённые шкафчики орехового дерева эпохи какого-то из Эдуардов, викторианские трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле ренессанс. Красное дерево и орех, дуб и чёрное дерево. Круглые ножки, продолговатые ножки, ножки-кабриолет. За поворотом — новый коридор. Шифоньерки времён королевы Анны. Снова клён серебристый. Перламутровая отделка и золочёная бронза.

Наши шаги отдаются эхом по бетонному полу. Дождь барабанит по стальной крыше.

И она говорит:

— У вас нет ощущения, что вы похоронены под грузом истории?

Она достаёт связку ключей — рукой с ярко-розовыми ногтями, из белой с жёлтым сумочки. Она сжимает ключи в кулаке, и только самый длинный и острый торчит наружу между пальцами.

— Вы никогда не задумывались, что всё, что вы делаете и что можете сделать в жизни, уже через сотню лет станет бессмысленным и никому не нужным? — спрашивает она. — Думаете, лет через сто кто-нибудь вспомнит о Стюартах?

Она переводит взгляд с одной отполированной поверхности на другую. Столы, шкафы, двери — её отражение проплывает по ним.

— Люди умирают, — говорит она. — Люди сносят дома. Но мебель — красивая, стильная мебель, — она остаётся. Мебель переживёт всех и вся.

Она говорит:

— Предметы мебели — это тараканы нашей культуры.

Не замедляя шагов, она проводит стальным ключом по отполированной стенке орехового буфета. Звук получается очень тихий, как бывает всегда, когда что-то твёрдое царапает что-то мягкое. Царапина получилась глубокая. Теперь видно, что за пафосной облицовкой скрывается дешёвенькая сосна.

Она останавливается перед гардеробом с зеркальными дверцами.

— Подумать только, сколько поколений женщин смотрелись в это зеркало, — говорит она. — Привозили его домой. Старились в этом зеркале. Они все мертвы, все эти юные красивые женщины, а гардероб — вот он, пожалуйста. И стоит гораздо дороже, чем когда он был новым. Паразит, переживший хозяина. Большой отожравшийся хищник, который выискивает следующую добычу.

В этом лабиринте антиквариата, говорит она, живут духи давно уже мёртвых людей — всех, кто когда-то владел этой мебелью. Всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе — всё, что олицетворяла собой эта мебель, — где всё это теперь?

Она говорит:

— Если смотреть с точки зрения веков, разве это действительно важно, от чего умерли Стюарты?

Я спрашиваю, как она поняла про баюльные чары. Она поняла, в чём тут дело, когда умер её сын Патрик?

Но она просто идёт вперёд, ведя рукой по резным краям, по полированным дверцам и зеркалам. На зеркалах остаются следы.

Я очень быстро выяснил, как умер её муж. Через год после смерти Патрика его нашли мёртвым в постели — без каких-либо видимых повреждений, без предсмертной записки, без очевидной причины.

Элен Бойль говорит:

— А как он умер, этот ваш редактор?

Из своей жёлтой с белым сумочки она достаёт отвёртку и плоскогубцы, такие чистые и блестящие, что их можно было бы использовать при хирургической операции. Она открывает дверцу большого отполированного шифоньера и говорит:

— Подержите, пожалуйста, чтобы она не болталась.

Я держу дверцу, а она возится с той стороны. Через пару секунд на пол к моим ногам падают защёлка и ручка.

Она снимает все ручки и все украшения из золочёной бронзы, она собирает все металлические детали, кроме петель, и ссыпает их в сумочку. Теперь, с ободранными дверцами, шкаф кажется изувеченным, кастрированным, истерзанным, слепым.

Я спрашиваю, зачем она это делает.

— Потому что мне нравится этот шкаф, — говорит она. — Но я не хочу стать его очередной жертвой.

Она закрывает дверцы и убирает свои инструменты в сумочку.

— Я вернусь за ним, когда они снизят цену до той, сколько он стоил, когда был новым, — говорит она. — Он очень мне нравится, но я его заберу на своих условиях.

Она проходит ещё пару шагов вперёд, и коридор упирается в непроходимый лес из вешалок для одежды, полок для шляп и подставок под зонты. Дальше виднеется глухая стена из платяных шкафов.

— Елизаветинская эпоха, — говорит она, прикасаясь к каждому из предметов. — Тюдоры... Истлейк... Густав Стикли...

Она объясняет, что старую мебель, собранную из нескольких разных предметов — скажем, из зеркала и комода, — специалисты называют «женатой». Для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Мебель, которая получается, если разобрать один изначальный предмет на несколько и продать их по отдельности — скажем, ящик буфета и верхнюю часть, — называется «разведённой».

— И опять же, — говорит она, — для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Я ей рассказываю о своих попытках разыскать все экземпляры книжки стихов. Я говорю о том, как это важно — чтобы никто не узнал про чары. После того что случилось с Дунканом, я клянусь, что сожгу все свои записи и забуду о том, что вообще знал эту баюльную песню.

— А что, если у вас не получится её забыть? — говорит она. — Что, если она застрянет у вас в голове, как эти дурацкие рекламные песенки? Что, если она всегда будет при вас, как заряженное ружьё, в ожидании кого-то, кто вас разозлит?

Я не воспользуюсь ею. Никогда.

— Давайте представим себе ситуацию, — говорит она. — Разумеется, гипотетически. Что, если я тоже клялась себе, что никогда не воспользуюсь этой песней. Я. Женщина, которая, как вы говорите, случайно убила своего

ребёнка и мужа, — человек, которого терзает это проклятие. И если такой человек, как я, всё-таки стал применять эту песню, то почему вы уверены, что не поступите точно так же?

Я говорю, никогда.

— Конечно-конечно, — отвечает она и беззвучно смеётся. Она поворачивает направо, быстро проходит мимо спальни в стиле бидермайер, потом — снова направо, мимо столика арт-нуво, и на мгновение я теряю её из виду.

Я прибавляю шаг, чтобы не отстать и не потеряться, и говорю на ходу: если мы хотим найти выход, то нам, наверное, надо держаться вместе.

Впереди снова маячит зеркальный комод «Уильям и Мари». Чёрная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтоны, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. И, уводя меня ещё глубже в дебри трюмо и комодов, бюро и трельяжей, книжных шкафов, кресел-качалок и вешалок для одежды, Элен Гувер Бойль говорит, что она мне расскажет одну историю.

Глава десятая

В редакции все притихли. Перешёптываются, собравшись у кофеварки. Слушают с раскрытыми ртами. Никто не плачет.

Хендерсон ловит меня у вешалки и говорит:

— Ты звонил в «Риджент-Пасифик Эрлайнс» насчёт их вшей?

Я говорю, что никто не хочет разговаривать, пока не заполнена учётная форма.

А Хендерсон говорит:

— Как только что-нибудь станет известно, сразу докладывай мне. — Он говорит: — Дункан не просто безответственный человек. Как оказалось, он умер.

Умер ночью, в своей постели, без каких-либо видимых повреждений. Без предсмертной записки, без очевидной причины. Его обнаружил хозяин квартиры и вызвал полицию.

Я говорю: а не было признаков, что тело подвергли содомии?

Хендерсон дёргает головой и говорит:

— Чему подвергли?

Не отымали ли его в задницу?

— Господи, нет, — говорит Хендерсон. — А почему ты вдруг спрашиваешь?

Я говорю: просто так.

По крайней мере Дункан не стал мёртвой куклой для секса.

Я говорю: если кто-нибудь будет меня искать, я — в библиотеке. Нужно проверить кое-какие факты. Просмотреть газеты за несколько лет. И пару-тройку бобин микрофильмов.

И Хендерсон кричит мне вслед:

— Только ты там недолго. Если Дункан умер, это не значит, что тебя освобождают от серии про мёртвых детей.

Палки и камни могут покалечить, и поосторожнее со словами.

Просматривая микрофильмы, я натываюсь на любопытный факт. В 1983 году, в Вене, Австрия, 23-летняя медсестра дала ударную дозу морфия старой женщине, которая очень мучилась и просила, чтобы ей помогли умереть.

Семидесятилетная пациентка умерла, а медсестра, Вальтруда Вагнер, поняла, что ей нравится власть над жизнью и смертью.

Вот оно, здесь — на бобинах с микрофильмами. Голые факты.

Сначала это была просто помощь умирающим пациентам. Она работала в госпитале для престарелых и неизлечимо больных. Если человек попадал в этот госпиталь, он уже оставался там. В ожидании смерти. *Желанной* смерти. Помимо морфия, Вальтруда Вагнер изобрела ещё одно средство, которое она называла «водолечением». Чтобы облегчить человеку страдания, надо просто зажать ему нос. Потом прижать поплотнее язык и влить ему в горло воду. Смерть была медленной и мучительной, но стариков всегда находили мёртвыми с водой, собравшейся в лёгких.

Молодая женщина называла себя ангелом.

Всё смотрелось очень естественно.

Вагнер считала, что делает доброе дело — благородное и героическое.

Она избавляла людей от страданий и боли. Она была очень внимательной, чуткой и ласковой, и она забирала лишь тех, кто сам просил смерти. Она была ангелом смерти.

А в 1987-м их было уже четыре. Четыре ангела, четыре медсестры. Они все работали в ночную смену. К тому времени госпиталь окрестили «Павильоном смерти».

Они уже не облегчали страдания, эти четыре женщины. Теперь они «назначали» водолечение пациентам, которые громко храпели, или мочились в постель, или отказывались принимать лекарства, или мешали медсёстрам отдыхать по ночам — приходили на пост и ныли. Малейший повод к раздражению — и на следующее утро пациента находили мёртвым. Каждый раз, когда пациент жаловался на что-то, Вальтруда Вагнер говорила:

— Этот уже прикупил билет к Господу Богу — буль-буль-буль.

— Те, кто меня нервировал, — говорила она на допросе, — отправлялись прямиком на свободную койку на небесах.

В 1998-м одна старушка обозвала Вагнер неряхой и потаскушкой, и ей «прописали» водолечение. Потом ангелы пили в таверне, смеялись и изображали, как старушка билась в конвульсиях. Врач, сидевший в той же таверне, случайно подслушал их разговор.

В ходе следствия выяснилось, что от «водолечения» умерли почти триста человек. Вагнер приговорили к пожизненному заключению. Остальные ангелы отделались меньшими сроками.

— Мы решали судьбу этих старых пердунов: жить им или умирать, — сказала Вагнер на суде. — Всё равно их билеты к Господу были давно просрочены.

История, которую рассказала мне Элен Гувер Бойль, — это чистая

правда.

Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно.

Так что расслабься, сказала Элен Гувер Бойль, и получай удовольствие.

Она мне сказала:

— Но даже у абсолютного разложения есть свои преимущества.

Она сказала:

— Подумай о тех, кого тебе хочется, чтобы не было в твоей жизни. Подумай о всех концах, которые хочется обрубить. Месть. Подумай, как это будет просто.

А я всё думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что каждая женщина — *каждая* — будет податливой и согласной на всё, по крайней мере два-три часа, пока не начнёт остывать и разлагаться.

«Скажи мне, — сказал он тогда, — чем это отличается от отношений большинства пар?»

Каждый без исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби.

Но если та австрийская медсестра, и Элен Гувер Бойль, и Джон Нэш не могут держать себя в руках, это ещё не значит, что я стану бездумным и импульсивным убийцей.

Хендерсон встаёт в дверях библиотеки и орёт:

— Стрейтор! Ты что, отключил пейджер? Нам только что позвонили насчёт ещё одного мёртвенького ребёнка.

Редактор мёртв, да здоровствует редактор. Старый босс, новый босс — разницы никакой.

И да, я согласен: без некоторых людей мир стал бы значительно лучше. Да, мир может стать совершенным — если немного его подправить. Небольшая уборка в доме. Небольшой неестественный отбор.

Но — нет. Я никогда не воспользуюсь этой баюльной песней.

Больше — никогда.

Но даже если я ею и воспользуюсь, то не для мести.

И не для собственного удобства.

И уж точно — не для удовлетворения сексуальных потребностей.

Нет, если я ею и воспользуюсь, то исключительно на благо людей.

Хендерсон орёт:

— Стрейтор! Ты хотя бы звонил насчёт вшей в первом классе? Или насчёт грибка в фитнес клубе? Надо достать руководство «Тёмного бора», иначе ты так и будешь топтаться на месте.

Я несусь по коридору в противоположную сторону, а у меня в голове

проносится баюльная песня. Я хватаю пальто и выбегаю на улицу.
Но — нет. Я никогда ею не воспользуюсь. Никогда. Ни за что.

Глава одиннадцатая

Эти звуко-голики. Эти тишина-фобы.

Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Сквозь стены слышны аплодисменты и громкий смех мёртвых.

Даже в ванной, даже когда принимаешь душ, сквозь шум воды слышно, как надывается радио у соседей. Даже когда струи воды бьют о пластиковую занавеску. Тебе не то чтобы хочется поубивать всех и вся, просто было бы славно, если бы мир узнал о баюльных чарах. Просто чтобы насладиться всеобщим страхом. Когда громкие звуки будут объявлены вне закона — всякие звуки, за которыми может скрываться смерть, всякая музыка или шум, маскирующие смертоносный стишок, — вот тогда станет тихо. Опасно и страшно, но тихо.

Кафельный пол подрагивает под ногами. Трубы вибрируют от соседских воплей. То ли от ядерных испытаний проснулся хищный доисторический динозавр и теперь убивает соседей, то ли они смотрят фильм, врубив телевизор на полную громкость.

В мире, где клятвы не стоят вообще ничего. Где обязательства — пустой звук. Где обещания даются лишь для того, чтобы их нарушать, было бы славно устроить так, чтобы слова обрели былое значение и мощь.

В мире, где каждый знает баюльную песню, повсюду будут стоять звуковые глушители. Как в военное время, по улицам будут ходить патрули. Патрули противозвуковой обороны. Они будут отслеживать шум и приказывать людям заткнуться. Точно так же, как специальные гражданские службы следят сейчас за загрязнением воздуха и воды, они будут отслеживать всякий звук громче шёпота и арестовывать нарушителей. Люди будут ходить на цыпочках в туфлях на бесшумной резиновой подошве. Информаторы будут подслушивать у замочных скважин.

Это будет опасный и страшный мир, но зато можно будет спать, не закрывая окна. И каждое слово будет на вес золота.

Вряд ли он, этот мир, будет хуже теперешнего с его оглушительной музыкой, рёвом от многочисленных телевизоров и радио.

Может быть, когда Большой Брат перестанет перегружать нам мозги, люди научатся думать.

Может быть, мы научимся жить своим умом.

Это вполне безопасно — и я произношу первую строчку баюльного

стихотворения. Меня никто не услышит, я никого не убью.

Но Элен Гувер Бойль права. Стишок накрепко врезался в память. Первое слово тянет за собой второе. Первая строчка — следующую. Мой голос гремит, словно на оперной сцене. Слова громыхают, как шар в кегельбане, и отдаются от кафельной плитки звенящим эхом.

Произнесённая в полный голос, баюльная песня звучит не так глупо, как звучала в тот вечер в кабинете у Дункана. Она звучит мощно и сильно. Это звук смертного приговора. Для моего идиота соседа сверху. Это конец его жизни в моём исполнении, и я договариваю весь стишок до конца.

Даже под душем я чувствую, как шевелятся волоски у меня на затылке. У меня перехватывает дыхание.

И — ничего.

Наверху по-прежнему грохочет музыка. Отовсюду, со всех сторон — вопли радио и телевизора, выстрелы, смех, взрывы и вой сирен. Где-то лает собака. Это то, что у нас называется прайм-тайм.

Я выключаю воду. Трясу головой. Отдвигаю занавеску и тянусь за полотенцем. И тут я вижу её.

Вентиляционную трубу.

Шахта для вентиляции, которая соединяет все квартиры. Которая всегда открыта. Она выводит из ванной пар, запахи пищи — из кухни. По ней проходят и звуки.

Я стою мокрый, босыми ногами на кафельной плитке, и смотрю на решётку.

Вовсе не исключено, что я убил весь подъезд.

Только что.

Глава двенадцатая

Нэш — в баре на Третьей. Ест луковый соус прямо руками. Окунает два пальца в тарелку, потом запускает их в рот и обсасывает так смачно, что у него западают щёки. Вынимает пальцы изо рта и опять окунает их в соус.

Я интересуюсь: это что, завтрак?

— У тебя есть вопрос, — говорит он, — но сначала покажи денежки. — Он обсасывает свои пальцы в луковом соусе.

Тут же, у стойки, сразу за Нэшем, стоит молодой человек с бачками, в стильном костюме в тонкую полоску. Рядом с ним — девушка. Она стоит на приступочке под стойкой, чтобы ей было удобнее с ним целоваться. Он достаёт из коктейля вишенку и отправляет в рот. Они целуются. Она жуёт. Надо думать, ту самую вишенку. По радио за стойкой всё ещё объявляют меню школьных завтраков.

Нэш то и дело поглядывает на них.

Это то, что сейчас называют любовью.

Я кладу на стойку десятку.

Он опускает глаза, всё ещё держа пальцы во рту. Потом выразительно поднимает брови.

Я спрашиваю: прошлой ночью у меня в доме никто не умер?

Дом на семнадцатой. Называется Лумис-плейс. Лумис-плейс, многоквартирный восьмиэтажный дом из красного кирпича. Может быть, кто-нибудь с пятого этажа? В конце коридора. Молодой парень. Сегодня утром я обнаружил на потолке пятно. Потолок сильно протёк.

У парня с бачками звонит мобильный.

Нэш вынимает пальцы изо рта и причмокивает губами. Скосив глаза, он рассматривает свои ногти.

Мёртвый парень был наркоманом. Многие жители этого дома — законченные наркоманы. Я спрашиваю у Нэша, не умер ли кто-то ещё в моём доме. Может быть, вчера ночью в Лумис-плейс умерли несколько человек?

Парень с бачками берёт свою девушку прямо за волосы и отрывает её от своего рта. Другой рукой он достаёт из кармана мобильный и подносит его к уху:

— Алло?

Я говорю, что если там кто-то умер, то все они умерли «без очевидной

причины».

Нэш водит пальцем по луковому соусу у себя на тарелке и говорит:

— Ты живёшь в этом доме?

Да, я уже говорил.

Парень с бачками говорит в телефон, по-прежнему держа девушку за волосы:

— Нет, радость моя. — Он говорит: — Я сейчас как раз в кабинете у доктора, и новости не особенно радостные.

Девушка закрывает глаза. Она запрокидывает голову и пытается освободить волосы.

А парень с бачками говорит:

— Нет, похоже, что метастазы есть. — Он говорит: — Нет, я в порядке.

Девушка открывает глаза.

Он ей подмигивает.

Она улыбается.

Парень с бачками говорит в телефон:

— Да, это многое значит. Я тебя тоже люблю.

Он отключает мобильник и притягивает девушку к себе.

Они снова целуются.

Нэш берёт со стойки десятку и убирает в карман. Он говорит:

— Нет. Я ничего такого не слышал.

Нога девушки соскальзывает с приступочки. Она смеётся. Она снова встаёт на приступочку и говорит:

— Это она звонила?

А парень с бачками говорит:

— Нет.

И всё случается помимо моего желания. Я просто смотрю на парня с бачками, и у меня в голове проносится баюльная песня. Песня, мой голос в душе, голос судьбы — отзывается во мне эхом. Помимо воли. Чисто рефлекторно. Всё происходит так быстро, как будто я просто чихнул.

Нэш говорит, дыша мне в лицо луком:

— Странно, что ты об этом спросил. — Он отправляет в рот палец в луковом соусе.

И девушка возле стойки говорит:

— Марти?

А парень с бачками медленно сползает на пол, цепляясь за стойку.

Нэш оборачивается посмотреть.

Девушка опускается на колени рядом с парнем, который теперь лежит на полу, и говорит:

— Марти?

Лак у неё на ногтях — ярко-малиновый с блёстками. Её малиновая помада вся размазана по губам парня.

Может быть, парень и вправду был болен. Может быть, он подавился вишенкой из коктейля. Может быть, я никого не убил — ещё раз.

Девушка поднимает глаза, смотрит на Нэша, потом — на меня. Её лицо влажно блестит от слёз. Она говорит:

— Кто-нибудь знает, как делается массаж сердца?

Нэш снова макает пальцы в луковый соус, а я переступаю через тело на полу, хватаю пальто и иду к выходу.

Глава тринадцатая

Возвращаюсь в редакцию. Уилсон из международного отдела интересуется, видел ли я сегодня Хендерсона. Бейкер из литературной редакции говорит, что Хендерсон не звонил, чтобы предупредить, что он болен. Ему звонили домой, но к телефону никто не подходит. Олифант из редакции спецрепортажей говорит:

— Стрейтор, ты это видел?

Он показывает мне объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ФРАНЦУЗСКОГО САЛОНА КРАСОТЫ

В объявлении сказано: «Вы посетили тамошнего косметолога и у вас на лице остались рубцы и шрамы?»

Номер, который стоит в объявлении, — новый. Я его раньше не видел. Я звоню по указанному телефону, и мне отвечает женщина:

— «Гренка, Грымза и Гаррота», юридические услуги.

Я вешаю трубку.

Олифант подходит к моему столу и говорит:

— Пока ты не ушёл, скажи что-нибудь хорошее про Дункана. — Он говорит, они готовят статью памяти Дункана, человека и журналиста, и собирают добрые отзывы сослуживцев. Кто-то из отдела искусства рисует его портрет по фотографии с пропуска. — Только с улыбкой, — говорит Олифант. — С улыбкой и больше похожим на человека.

По дороге сюда из бара на Третьей я считал шаги. Чтобы чем-то занять свои мысли. Я насчитал 276 шагов, а потом, на углу, парень в чёрной кожаной куртке просвистел мимо меня со словами:

— Проснись, придурок. Пешеходам зелёный.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как зевок. Я смотрю парню в спину, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Он идёт впереди, переходит улицу. Заносит ногу, чтобы ступить на тротуар на той стороне, но нога ударяется о поребрик, и он плашмя падает на асфальт. Ударяется головой. Звук такой, как будто на пол упало яйцо — только очень большое яйцо с мозгами и кровью внутри. Его руки безвольно лежат вдоль тела. Носки его чёрных ботинок свешиваются с края тротуара

и нависают над водостоком.

Я переступаю через него и считаю — 277. Считаю — 278, считаю — 279...

За квартал до редакции улица перекрыта барьером для скачек. Офицер в тёмно-синей форме трясёт головой:

— Вам надо вернуться и перейти на ту сторону улицы. Эта сторона закрыта. — Он говорит: — Там фильм снимают. Прохода нет.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как судорога в ноге. Я смотрю на его полицейский значок, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Глаза у него закатились — видны только белки. Рука тянется к груди, колени подгибаются. Падая, он ударяется подбородком о верхний край барьера с такой силой, что слышно, как клацнули зубы. Из рта вылетает что-то розовое и влажное. Кончик откушенного языка.

Я считаю — 345, считаю — 346, считаю — 347. Перелезаю через барьер и иду дальше.

Мне заступает дорогу женщина с портативной рацией в руке. Она вытягивает свободную руку, чтобы меня остановить. Но не успевает схватить меня за руку. Рот раскрылся, глаза закатились. Из рта потекла тонкая струйка слюны. Она падает на тротуар. В её рации звучит голос:

— Джин? Джин, ты где? Ты нам нужна.

Последняя строчка баюльной песни замирает у меня в голове.

Я считаю — 359, считаю — 360, считаю — 361. Я иду дальше, а люди бегут мне навстречу и проносятся мимо. Женщина с экспонетром на шее говорит:

— Кто-нибудь вызвал «скорую»?

Люди в живописных лохмотьях, в густом гриме, с бутылками питьевой воды в руках сгрудились у магазинных тележек, набитых всяким мусором, под яркими прожекторами. Они тянут шеи — посмотреть, что случилось. Вдоль тротуара стоят трейлеры и фургоны. В воздухе пахнет дизельными моторами. Вся улица заставлена бумажными стаканчиками из-под кофе.

Я считаю — 378, считаю — 379, считаю — 380. Перелезаю через барьер на той стороне и иду дальше. 412 шагов до редакции. Поднимаюсь на лифте. Лифт, как всегда, переполнен. Он останавливается на пятом, и в кабину пытается втиснуться ещё один человек.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя вдруг бросает в жар. Я стою, прижатый к дальней стене кабины, и баюльная песня звучит у меня в голове так настойчиво, что мои губы шевелятся, беззвучно артикулируя слова.

Мужчина обводит взглядом кабину и отступает назад. Как будто в замедленной съёмке. Мы не успеваем увидеть, как он падает на пол — двери лифта закрываются, и мы едем вверх.

В редакции все на месте. Нет только Хендерсона. Олифант подходит, когда я собираюсь звонить. Напоминает мне про статью о Дункане. Чтобы я сказал про него что-то хорошее. Он суёт мне под нос объявление. Про Французский салон красоты и рубцы на лице. Он ненавязчиво интересуется, где моя очередная статья из серии про смерть в колыбельке.

Держа телефонную трубку в руке, я считаю — 435, считаю — 436, считаю — 437...

Олифанту я говорю: не зли меня.

Женский голос на том конце линии говорит:

— Элен Бойль. Продажа недвижимости. Чем могу вам помочь?

А Олифант говорит:

— А ты не пробовал досчитать до десяти?

Подробности об Олифанте: он очень толстый, и у него вечно потеют ладони. На гранках, которые он мне суёт под нос, смазанные отпечатки. Пароль у него на компьютере — «пароль».

И я говорю: до десяти я давно уже досчитал.

Женщина на том конце линии говорит:

— Алло?

Прикрыв рукой трубку, я говорю Олифанту, что в городе эпидемия гриппа. Может быть, Хендерсон заболел. Сейчас я иду домой, но клятвенно обещаю, что пришлю статью после обеда.

Олифант произносит одними губами: *четыре часа — крайний срок* — и стучит пальцем по циферблату своих часов.

Я спрашиваю у женщины на том конце линии, на месте ли Элен Гувер Бойль. Я говорю, что меня зовут Стрейтор и мне нужно срочно с ней поговорить.

Я считаю — 489, считаю — 490, считаю — 491...

Женщина на том конце линии говорит:

— А она знает, о чём пойдёт речь?

Да, говорю, она знает, но делает вид, что не знает.

Я говорю, она должна меня остановить, пока я не убил кого-нибудь ещё.

И Олифант пятится от меня, и отводит взгляд лишь через пару шагов, и убегает в редакцию спецрепортажей. Я считаю — 542, считаю — 543...

По пути в риэлторскую контору я прошу таксиста остановиться у моего дома и пару минут подождать.

Я поднимаюсь к себе. Мокрое пятно на потолке расползлось ещё больше. Размером с автомобильную крышку, только с ножками и ручками.

Я возвращаюсь в такси, пытаюсь пристегнуться, но ремень слишком короткий. Он больно врезается мне в живот, и я вспоминаю, как Элен Гувер Бойль говорит: «Средних лет. Рост пять футов и десять дюймов, вес... фунтов сто семьдесят. Белый. Шатен, зелёные». Я вспоминаю, как она мне подмигивает из-под взбитого облака розовых волос.

Я называю таксисту адрес риэлторской конторы и говорю, что он может гнать хоть со скоростью реактивного самолёта, главное, чтобы он меня не раздражал.

Подробности о такси: там воняет. Сиденья — чёрные и липкие. В общем, такси как такси.

Я говорю, что я жутко злой и раздражительный.

Таксист глядит на меня в зеркало заднего вида и говорит:

— Может, вам стоит пойти на курсы «Как контролировать раздражительность».

И я считаю — 578, считаю — 579, считаю — 580...

Глава четырнадцатая

Согласно «Архитектурному дайджесту», жить надо в большом особняке с частным садом и примыкающей коневодческой фермой. Согласно «Городу и деревне», отдыхать надо на побережье. Согласно «Туризму и отдыху», лучший способ расслабиться — пройтись на собственной яхте вдоль солнечных берегов Средиземноморья.

В приёмной риэлторской конторы Элен Гувер Бойль это проходит за экстренное сообщение. Сенсационные новости.

Экземпляры всех этих пафосных изданий лежат на низком кофейном столике. Диван с выгнутой спинкой «Честерфилд» обтянут розовым шёлком в полоску. Рядом с диваном — ещё один столик на «львиных» ножках со стеклянными шарами в когтях. Я смотрю на всё это и думаю: сколько мебели попало сюда в «ободранном» виде — без металлических ручек и фурнитуры. Проданную за бесценок, её привезли сюда, где Элен Гувер Бойль собрала её снова.

Совсем молодая женщина, вдвое младше меня, сидит за резным столом в стиле Людовика XIV, вперив взгляд в электронные часы с радио. На табличке, что стоит у неё на столе, написано: Мона Саббат. Рядом с часами — радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, трещит статическими помехами.

По радио, что на часах, передают какое-то ток-шоу. Пожилая женщина ругается на молодую. Насколько я понимаю, молодая забеременела, не будучи замужем, и по этому поводу пожилая обзывает её шлюхой, и потаскухой, и ещё дурой в придачу — потому что дать-то она дала, а взять денег ума не хватило.

Женщина за столом, эта самая Мона, выключает радиосканер и говорит:

— Вы не против, надеюсь? Мне очень нравится это шоу.

Эти звуко-голики. Эти тишина-фобы.

Потребители массовой информации.

Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскушке, чтобы та отдала ребёнка в детдом, если не хочет ломать себе жизнь. Она говорит, что молодой шлюшке надо подумать о будущем: окончить университет по курсу микробиологии, потом выйти замуж, и до замужества — никакого секса.

Мона Саббат достаёт из-под стола пакет из плотной бумаги и

вынимает из него какую-то штуку, завёрнутую в фольгу. Она разворачивает фольгу, и по комнате разносится запах чеснока и ногтей.

Беременная потаскушка на радио только рыдает в голос.

Палки и камни могут покалечить, а слова могут и вовсе убить.

Согласно «Городу и деревне», личную переписку следует вести на качественной почтовой бумаге, обязательно от руки и красивым почерком. В свежем номере «Недвижимости» я натываюсь на объявление:

**ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КОННО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «НОРОВИСТАЯ ЛОШАДКА»**

В объявлении сказано: «Вы заразились кожной инфекцией?»

Номер, который стоит в объявлении, — новый. Я его раньше не видел.

Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскушке, чтобы она прекратила реветь.

Большой Брат поёт и пляшет. Насильно кормит тебя с большой ложки, чтобы твой разум не изголодался по мысли, чтобы не дать тебе время задуматься.

Мона Саббат кладёт локти на стол и наклоняется ближе к радио. Звонит телефон, она поднимает трубку:

— Элен Бойль. Продажа недвижимости. Подходящий дом — на любой вкус. — Она говорит: — Ой, это ты, Устрица. Ты извини, тут как раз «Доктор Сара». — Она говорит: — Увидимся на церемонии.

Пожилая женщина на радио обзывает молодую сукой.

На обложке «Первого класса» написано: «Соболь. Узаконенное убийство».

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Краем уха я слушаю радио, краем глаза читаю журнал, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Из динамика радио слышны только безудержные рыдания.

А вместо реплики пожилой — тишина. Приятная, благословенная тишина. Совершенная тишина. Такой тишины не бывает, если поблизости есть кто-то живой.

Молоденькая потаскушка с шумом вдыхает воздух и говорит:

— Доктор Сара? — Она говорит: — Доктор Сара, вы здесь?

Ей отвечает глубокий и звучный голос. Шоу доктора Сары Ловенштейн прерывается по техническим причинам. Глубокий и звучный голос извиняется перед «уважаемыми радиослушателями». Включается

лёгкая танцевальная музыка.

На обложке «Особняка» написано: «Бриллианты — это становится легкомысленным».

Со стоном я закрываю лицо руками.

Мона вгрызается в свой сэндвич. Выключает радио и говорит:

— Бездельники.

Тыльные стороны её ладоней разрисованы замысловатым узором — ржаво-коричневой хной. Пальцы — даже большие пальцы — унизаны серебряными перстнями. На шее — многочисленные серебряные цепочки. Ядовито-оранжевое платье. Ткань на груди топорщится из-за многочисленных тяжёлых кулонов, спрятанных под платье. Красные с чёрным дреды собраны в небрежный высокий пучок. В ушах — огромные серьги, серебряная филигрань. Глаза, похоже, янтарно-жёлтые. Лак на ногтях — чёрный.

Я интересуюсь, давно ли она тут работает.

Она говорит:

— Вы имели в виду по земному времени?

Она достаёт из ящика стола книжку в мягкой обложке, вынимает оттуда жёлтый фломастер, который вместо закладки, и открывает книжку.

Я интересуюсь, любит ли миссис Бойль говорить о поэзии.

А Мона говорит:

— Вы имели в виду Элен?

Да, читает ли она стихи? Вслух? Было такое, чтобы она позвонила кому-нибудь и прочитала по телефону стихи?

— Не поймите меня неправильно, — говорит Мона, — но миссис Бойль недосуг заниматься такой ерундой. Она делает деньги.

И я считаю — раз, я считаю — два...

— Тут всё очень просто, — говорит Мона. — Когда на улицах пробки, миссис Бойль заставляет меня ехать домой вместе с ней — чтобы она могла пользоваться полосой для служебного транспорта. А потом мне приходится добираться до дому на трёх автобусах. Понимаете?

Я считаю — четыре, считаю — пять...

Она говорит:

— Однажды мы с ней разделили великое знание о силе кристаллов. Как будто мы наконец обрели связь на каком-то уровне, но потом оказалось, что мы говорили о двух совершенно разных реальностях.

Я встаю и подхожу к её столу. Достаю из кармана листок бумаги, разворачиваю и показываю ей стишок. Может быть, он ей знаком?

В книге, раскрытой у неё на столе, подчёркнуто жёлтым: *Магия есть*

обращение необходимой энергии на достижение естественных сдвигов.

Она пробегает стихотворение глазами. Глаза у неё — янтарно-жёлтые. Чуть выше выреза платья, над правой ключицей, я замечаю татуировку — три крошечные звёздочки. Она сидит нога на ногу. Сидит босиком. У неё грязные ноги. На больших пальцах — по большому серебряному кольцу.

— Я знаю, что это, — говорит она и тянет руку к листочку.

Но я быстро складываю листок и убираю обратно в карман.

Всё ещё держа руку на весу, она тычет в меня указательным пальцем и говорит:

— Я знаю, что это такое. Это баюльное заклинание, правильно?

В книге, раскрытой у неё на столе, подчёркнуто жёлтым: *Конечный продукт смерти — последующее возрождение.*

На дальнем конце полированного стола из вишнёвого дерева — длинная глубокая царапина.

Я спрашиваю, что ей известно про баюльные заклинания.

— Про них говорится в литературе всех народов мира, — говорит она, пожимая плечами. — Но предполагается, что они утеряны. — Она протягивает руки ладонями вверх. — Дайте мне посмотреть ещё раз.

Я говорю: а как они действуют?

Она быстро сгибает и разгибает пальцы.

Я качаю головой: нет. Я говорю: почему эти баюльные чары убивают других людей, но не того, кто их произносит?

И Мона слегка наклоняет голову набок и говорит:

— А почему пистолет не убивает того, кто жмёт на курок? И здесь действует тот же принцип. — Она поднимает руки над головой и потягивается, направив ладони к потолку. Она говорит: — Не существует рецепта, как их составить. Их нельзя препарировать с помощью электронного микроскопа.

Её платье без рукавов. Волосы у неё в подмышках банального русого цвета.

Но как получается, говорю я, что они действуют на человека, который их даже не слышит? Я смотрю на радиоприёмник. Почему они действуют даже тогда, когда ты произносишь их про себя — не вслух?

Мона Саббат вздыхает. Переворачивает раскрытую книжку обложкой вверх и затыкает жёлтый фломастер за ухо. Потом достаёт из ящика стола блокнот и ручку и говорит:

— Вы не знаете, да?

Она что-то пишет в блокноте и говорит параллельно:

— Когда я была католичкой, давным-давно, я могла прочитать «Аве

Мария» за семь секунд. За девять секунд — «Отче наш». Когда на тебя налагают такое количество епитимий, поневоле научишься скорочтению. — Она говорит: — При таком темпе это уже не слова, но молитва всё равно остаётся молитвой.

Она говорит:

— Заклинания нужны для того, чтобы сфокусировать наше намерение. — Она произносит всё это медленно, словно за словом, и умолкает, как будто ждёт, что я что-то скажу. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит: — Если намерение исполнителя обладает достаточной силой, объект заклинания уснёт независимо от того, где он в данный момент находится.

Она говорит, что чем больше эмоций человек вкладывает в заклинание, тем сильнее получаются чары. Мона Саббат щурится и говорит:

— Когда вы в последний раз чувствовали себя легко и непринуждённо?

Почти двадцать лет назад. Но ей я этого не говорю.

— Мне кажется, — говорит она, — что вас что-то гнетёт. Причём постоянно. Печаль. Или злость. Ну, в общем, *что-то*. — Она прекращает писать и берёт свою книжку с подчёркнутыми жёлтым малопонятными фразами. Находит нужную страницу, на пару секунд погружается в чтение, потом листает дальше. — Уравновешенному человеку, — говорит она, — человеку спокойному, человеку, который внутренне не напряжён, пришлось бы прочесть песню вслух, чтобы кого-нибудь усыпить.

Продолжая читать, она хмурится и говорит:

— Если ты хочешь владеть собой, сначала следует разобраться со своими внутренними проблемами.

Я говорю: это из вашей книги?

— Из шоу доктора Сары, — говорит она.

А я говорю, что баюльная песня не только усыпляет.

— В смысле? — не понимает она.

В смысле, что от неё умирают. Я говорю: вы уверены, что у Элен Бойль нету книги *«Стихи и потешки со всего света»*?

Мона Саббат роняет руки на стол и берёт сандвич, завернутый в фольгу. Подносит его ко рту, смотрит на радиоприёмник. Она говорит:

— Сейчас, на радио. — Она говорит: — Это вы сотворили?

Я молча киваю.

— Вы отправили доктора Сару в следующую инкарнацию?

Я говорю, может быть, вы позвоните Элен Гувер Бойль на сотовый —

мне надо срочно с ней поговорить.

У меня бибикает пейджер.

А Мона говорит:

— То есть вы утверждаете, что Элен использует эту самую баюльную песню?

Сообщение на пейджере: срочно перезвонить Нэшу. Срочно.

Я говорю, что не могу ничего доказать, но я уверен, что миссис Бойль знает, как с ней обращаться. Я говорю: мне нужна её помощь, чтобы я научился себя контролировать. Чтобы я научился владеть собой.

Мона Саббат прекращает писать и вырывает листок из блокнота. Протягивает его мне, но пока не отдаёт. Она говорит:

— Если вы это серьёзно... насчёт научиться, как контролировать эту силу... приходите на нашу викканскую церемонию. Это древний языческий культ. — Она машет листком у меня перед носом и говорит: — Тысячелетний магический опыт. — Она включает радиосканер.

Я беру у неё листок. На нём — адрес, дата и время.

Радиосканер трещит:

— Подразделение Браво-девять, ответьте на вызов по коду девять-четырнадцать, Лумис-плейс, подразделение пять-D.

— Целой жизни не хватит, чтобы познать мистические глубины этого древнего знания, — говорит Мона и опять принимается за свой сандвич. — Да, и ещё, — говорит она, — принесите своё любимое горячее блюдо, но только без мяса.

И радиосканер трещит:

— Как понял?

Глава пятнадцатая

Элен Гувер Бойль достаёт мобильный из своей белой с зелёным сумочки. Потом достаёт визитку и набирает номер, сверяя каждую цифру. В приглушённом свете маленькие зелёные кнопочки кажутся особенно яркими. Ярко-зелёные кнопочки под ярко-розовым ногтем. Визитная карточка — с золотым обрезом.

Она подносит телефон к уху под взбитым облаком розовых волос. Она говорит в трубку:

— Да, я на вашем чудесном складе и боюсь, что мне нужна помощь, чтобы найти выход.

Она наклоняется к табличке на огромном платяном шкафу, который выше неё в два раза. Она говорит в трубку:

— Я стою рядом... — она читает с таблички, — с платяным шкафом в неоклассическом стиле под Роберта Адама с орнаментальными арабесками из позолоченной бронзы.

Она смотрит на меня и закатывает глаза. Она говорит в трубку:

— Написано: семнадцать тысяч долларов.

Она снимает зелёные туфли на высоких каблуках и стоит в белых чулках прямо на голом бетонном полу. Чулки ослепительно белые, но не как нижнее бельё, а скорее как кожа под этим бельём. Они непрозрачные, и поэтому пальцы у неё на ногах кажутся перепончатыми.

Сегодня на ней костюм с облегающей юбкой. Он зелёный, но не зелёный, как лайм, а скорее как лаймовая начинка для пирога. Он не зелёный, как авокадо, а скорее как авокадовый суп-пюре с тоненьким завитком цедры лимона сверху, который подают охлаждённым в ярко-жёлтой тарелке Cristel de Sevres.

Он зелёный, как сукно на бильярдном столе под жёлтым шаром — именно под жёлтым, а не под красным.

Я спрашиваю у Элен Гувер Бойль, что такое код девять-четырнадцать.

И она говорит:

— Мёртвое тело. Труп.

Я говорю, что я так и думал.

Она говорит в трубку:

— Так, а теперь — налево или направо возле палисандрового буфета Herplewhite с резным цветочным орнаментом и шёлковым напылением?

Прикрыв рукой трубку, она говорит мне:

— Ох уж мне эта Мона. — Она говорит: — Представляю себе это сборище колдунов: хиппи, пляшущие голышом вокруг какого-нибудь плоского камня, — вот и весь ритуал.

Теперь мне видно, что её волосы — не сплошь розовые. Пряди различных оттенков, чуть светлее и чуть темнее. А если как следует присмотреться, то видны даже оттенки красного, персикового и малинового.

Она говорит в трубку:

— Ага, понятно. Если мне попадётся кромвельское кресло атласного дерева с орнаментом из слоновой кости, значит, надо идти назад.

Мне она говорит:

— Господи, и зачем вы всё рассказали Моне?! Мона расскажет своему бойфренду, и конца этому не будет.

Лабиринт мебели смыкается вокруг нас. Красное дерево, чёрное дерево, коричневая полировка. Позолота и зеркала.

Она проводит пальцем по кольцу с бриллиантом у себя на руке. Камень массивный и острый. Она переворачивает кольцо, так что бриллиант возвышается над ладонью. Она прижимает ладонь к полированной дверце шкафа. На дверце остаётся глубокая царапина в виде стрелки налево.

Она отмечает дорогу.

Оставляет свой след в истории.

Она говорит в трубку:

— Большое спасибо. — Она заканчивает разговор и убирает мобильный обратно в сумочку.

Бусы у неё на шее — из какого-то непонятного зелёного камня. Зелёные бусины перемежаются с золотыми. Под ними — ещё одни бусы, жемчужные. Раньше я их на ней не видел.

Она надевает туфли и говорит:

— Отныне и впредь моя основная задача — держать вас с Моной подальше друг от друга.

Она взбивает волосы над ухом и говорит:

— Идите за мной.

Она проводит ладонью по поверхности столика — рисует ещё одну стрелку. Дубовый карточный столик Шератон с раздвижными ножками и откидной крышкой, как написано на табличке.

Теперь — искалеченный.

Элен Гувер Бойль идёт впереди. Она говорит:

— И зачем вы вообще занялись этим делом?! — Она говорит: — Вас

оно не касается.

Потому что я — репортёр, она это имеет в виду? Потому что я — репортёр, который взялся расследовать что-то такое, о чём нельзя никому рассказать? Потому что это рискованно. Потому что я в лучшем случае выставляю себя вуайеристом. А в худшем — стервятником.

Она останавливается перед большим гардеробом со стеклянными дверцами, и я вижу своё собственное отражение у неё за плечом. Она открывает сумочку и достаёт маленький золочёный цилиндр. Губную помаду.

— Именно это я и имею в виду, — говорит она.

Стиль французский ампир с египетскими мотивами в переплетающемся разноцветном орнаменте, как написано на табличке.

В зеркале — Элен Гувер Бойль открывает помаду.

Помада — ядовито-розовая.

Я говорю у неё за спиной: а если это не только работа?

Может быть, я не только газетный хищник, который гоняется за сенсацией.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Нэш.

Я говорю, может быть, я узнал про книгу, потому что когда-то она была и у меня. Может быть, у меня были жена и дочь. Что, если я прочитал им на ночь этот проклятый стишок, чтобы они побыстрее заснули? Давайте представим себе ситуацию. Разумеется, гипотетически. Что, если я их убил? Если ей нужно что-то вроде рекомендательного письма, такое признание подойдёт?

Она растягивает губы и подкрашивает их по новой — розовым поверх розового.

Я подхожу ещё ближе и говорю: как на ваш взгляд, я достаточно настрадался?

Она поджигает губы, а потом медленно приоткрывает. В последний момент они залипают на долю секунды.

Не дай бог никому выстрадать столько, сколько выстрадала Элен Гувер Бойль.

И я говорю, может быть, я потерял не меньше.

Она закрывает помаду. Убирает обратно в сумочку и оборачивается ко мне.

Она стоит передо мной, вся блистательная и спокойная, и говорит:

— Гипотетически?

Я выжимаю улыбку и говорю: разумеется.

Она прижимает ладонь к зеркальной дверце. На зеркале остаётся

глубокая царапина в виде стрелки направо. Она идёт дальше, но медленно, ведя рукой по буфетам, трюмо и комодам, по навощённому дереву, по полировке — идёт, разрушая всё, к чему прикасается.

Она говорит:

— А вы никогда не задавались вопросом, откуда оно вообще появилось, это стихотворение?

Африканский фольклор, говорю я, стараясь не отставать от неё ни на шаг.

— Я говорю про книгу. Книгу заклинаний. — Она идёт мимо бюро и сервантов, мимо кресел Farthingale. Она говорит: — «Книгу теней», как её называют ведьмы. У каждой колдуньи она своя.

«*Стихи и потешки со всего света*» вышли одиннадцать лет назад, говорю я. Я кое-что разузнал. Тираж был совсем небольшой — пятьсот экземпляров. Издатель, «KinderHaus Press», вскорости обанкротился, и права на переиздание и печатные формы с набором перешли к некоему человеку, который купил их вместе со всей остальной обстановкой, когда покупал дом автора-составителя, который скоропостижно скончался — безо всякой видимой причины — три года назад. Я не знаю, как сейчас обстоит дело с правами. Может, со смертью автора-составителя они переходят во всеобщее пользование. Я так и не выяснил, кому они принадлежат сейчас.

Элен Гувер Бойль замирает на месте, ладонь с бриллиантом останавливается точно посередине широкого зеркала. Она говорит:

— Права сейчас у меня. Я знаю, каким будет следующий вопрос, поэтому отвечаю сразу. Я их купила три года назад. Мне удалось разыскать триста из первоначальных пятисот экземпляров, и я все их сожгла.

Она говорит:

— Но это не самое главное.

Я соглашаюсь с ней. Да. Самое главное — разыскать оставшиеся экземпляры и остановить эту чуму. Принять срочные меры по борьбе со стихийным бедствием. Самое главное — найти способ, как забыть песню самим. Может быть, Мона Саббат и её компания нам в этом помогут.

— Господи, — говорит Элен, — только, пожалуйста, не говорите, что вы собираетесь посетить это шаманское сборище. — Она говорит: — Вы, как я понимаю, наводили справки о составителе? И что удалось узнать?

Его звали Бэзил Франки, и человек он был вполне заурядный. Он собирал старые литературные произведения, которые давно не переиздавались или не издавались вообще и на которые ни у кого не было авторских прав, и составлял антологии. Средневековые сонеты,

непристойные лимерики, детские стишки. Кое-что он брал из старых букинистических книг. Кое-что — из Интернета. Он был не особо разборчив. Всё, что можно было добыть бесплатно, он включал в свои сборники.

— Но откуда он взял этот конкретный стишок? — говорит она.

Я не знаю. Может быть, из какой-нибудь старой книги, которая до сих пор лежит где-то в подвале. Может быть, даже в его старом доме.

— Нет, там её нет, — говорит Элен Гувер Бойль. — Я купила его старый дом. Со всем, что в нём было. В ведре в кухне под раковиной ещё оставался мусор, в шкафах лежали его трусы. Но книги там не было.

Вопрос напрашивается сам собой: не она ли его убила?

— Давайте представим себе ситуацию, — говорит она. — Разумеется, гипотетически. Если я убила своего мужа и своего сына, разве я бы не разъярилась на какого-то безответственного, жадного и ленивого дурака плагиатора, из-за которого я лишилась всех своих близких?

Точно так же, как — чисто гипотетически — она убила Стюартов.

Она говорит:

— Я убеждена, что изначальная «Книга теней» не исчезла. Она где-то есть.

Я согласен. И нам надо найти её и уничтожить.

И Элен Гувер Бойль улыбается своей ядовито-розовой улыбкой. Она говорит:

— Вы, наверное, шутите. — Она говорит: — Власть над жизнью и смертью — это ещё не всё. Неужели вам не интересно, какие там есть ещё заклинания?

Всё происходит внезапно. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Я переносу весь свой вес на здоровую ногу. Я смотрю на Элен Гувер Бойль и говорю ей: нет.

Она говорит:

— Может, там есть заклинание, чтобы жить вечно.

И я говорю: нет.

А она говорит:

— Может, там есть заклинание, чтобы заставить любого тебя полюбить.

Нет.

И она говорит:

— Может, там есть заклинание, чтобы превращать солому в золото.

И я говорю: нет — и отворачиваюсь от неё.

— Может, там есть заклинание, чтобы добиться мира во всём мире, —

говорит она.

Я говорю: нет — и иду прочь по узкому коридорчику между глухими стенами из книжных шкафов и гардеробов, письменных столов и спинок кроватей. По каньонам старинной мебели.

Она говорит у меня за спиной:

— Может, там есть заклинание, чтобы превращать песок в хлеб.

Я иду прочь, припадая на больную ногу.

И она говорит:

— Вы куда? Выход — в другой стороне.

У застеклённого шкафчика из ирландской сосны с отбитой резьбой на фронте я поворачиваю направо. У чиппендейловского бюро, покрытого чёрным блестящим лаком, я поворачиваю налево.

Она говорит у меня за спиной:

— Может, там есть заклинание, чтобы лечить больных. И исцелять калек.

У бельгийского серванта с узорчатым карнизом я поворачиваю направо, потом — налево, у изящного шкафчика эпохи какого-то из Эдуардов с хрустальной стенкой из художественного стекла.

Она говорит у меня за спиной:

— Может, там есть заклинание, чтобы раз и навсегда очистить окружающую среду и превратить мир в земной рай.

Стрелка, нацарапанная на столешнице, указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую.

И она говорит у меня за спиной: может быть, там написано, как получить неограниченное количество самой чистой энергии.

Как переместиться назад во времени, чтобы предотвратить трагедию.

Научиться чему-то новому. Познакомиться с интересными людьми.

Сделать так, чтобы все были богаты, здоровы и счастливы.

Может быть, провести весь остаток жизни, хромая из угла в угол по пустой, одинокой квартире, где стены дрожат от шума, — это не то, что мне нужно.

Стрелка на вышитой ширме указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую.

У меня снова библикает пейджер. Снова — Нэш.

И она говорит у меня за спиной: если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое — чтобы вернуть их к жизни. Тех, кого ты убил.

Может быть, это мой второй шанс.

Она говорит у меня за спиной: может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки,

которые не совершили. За дела, которые не довели до конца.

У меня снова бибикает пейджер. Нэш просит срочно перезвонить.

Я не останавливаюсь. Я иду, припадая на больную ногу.

Глава шестнадцатая

На это раз Нэш не стоит у стойки. Он сидит за маленьким столиком в глубине бара, в самом тёмном углу. Если бы на столе не горела свечка, он бы сидел в полной темноте. Я говорю: привет, получил твою тысячу сообщений на пейджер. Я говорю: почему вдруг такая спешка?

На столе перед Нэшем — газета. Сложенная так, что заголовок сразу бросается в глаза:

ТАИНСТВЕННЫЙ ВИРУС УНЁС СЕМЬ ЖИЗНЕЙ

В подзаголовке сказано: «Известный общественный деятель и редактор уважаемой местной газеты предполагается первой жертвой».

Какой ещё известный общественный деятель? Я читаю статью. Как выясняется, это Дункан. А я и не знал, что его звали Лесли. Но почему вдруг *известный* и почему вдруг *общественный деятель*?

Не слишком ли громко сказано, тем более если учесть, что журналист и его репортаж взаимно исключают друг друга.

Нэш стучит по газете пальцем и говорит:

— Ты уже видел?

Я говорю, что как ушёл из редакции с утра, так больше и не возвращался. И, чёрт побери, я даже забыл отправить следующий репортаж насчёт смерти в колыбельке. Я читаю статью и натываюсь на собственные слова. Для меня Дункан был больше, чем просто редактор — это я якобы так сказал, — больше, чем просто наставник. Лесли Дункан был для меня как отец. Чёрт бы побрал Олифанта и его потные руки.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб. По спине пробегает льдистый холодок, пульс учащается, и баюльная песня звучит у меня в голове. Не знаю, где сейчас Олифант, но могу догадаться, что с ним происходит: он тихо сползает со стула и падает на пол. Злость, копившаяся годами, прорывается снова.

Не важно, сколько людей умирает, всё равно всё остаётся по-прежнему.

На столе перед Нэшем — пустая бумажная тарелка с остатками картофельного салата. Нэш мнёт в руках бумажную салфетку, скручивая её в толстый жгут. Он глядит на меня поверх пламени свечи и говорит:

— Мы забрали того парня из твоего дома. — Он говорит: — Смерть

безо всякой видимой причины в окружении кошек и тараканов. Вскрытие ничего не показало.

Тот парень, который свалился здесь, в баре, сегодня утром, парень с бачками и сотовым телефоном, — смерть безо всякой видимой причины. Медэксперты в недоумении. Потом ещё — трое людей умерли прямо на улице. Между баром и зданием редакции.

— Потом ещё один, в здании редакции, — говорит Нэш. — Умер, пока дожидался лифта.

Он говорит, медэксперты предполагают, что все они умерли по одной и той же причине. Из-за какого-то непонятного «вируса».

— Однако полиция подозревает, что дело в наркотиках, — говорит он. — Может быть, сукцинилхолин. Внутривенно. Сами ширнулись или кто-то вколол им его насильно. Нейромышечный блокиратор. Расслабляет все мышцы, так что человек не может нормально дышать и умирает от кислородного голодания.

Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашёл за киношные ограждения, о женщине с портативной рацией: у неё были длинные чёрные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в обlipку и маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на неё польститься. Скажем, по дороге в морг.

Очередная победа.

Уж не знаю, что Нэш собирается мне сказать, но мне почему-то не хочется его слушать.

Он говорит:

— Но мне кажется, что полиция ошибается.

Нэш проводит скрученной в жгут салфеткой над пламенем свечи, пламя дёргается, завиток чёрного дыма поднимается к потолку. Пламя выравнивается, и Нэш говорит:

— На тот случай, если ты вдруг решишь позаботиться обо мне, как ты уже позаботился обо всех остальных, — говорит он, — имей в виду, я написал письмо, где изложил всё, что знаю, и оставил его у приятеля. Так что если со мной что случится, он знает, куда передать письмо.

Я улыбаюсь и говорю: что-то я не понимаю. Какое письмо? Что он знает?

И Нэш поднимает жгутик из салфетки над пламенем и говорит:

— Я знаю, что ты знал о смерти соседа. Я знаю, что парень, который стоял тут за стойкой, свалился замертво, когда ты на него посмотрел, и ещё четверо человек умерли, пока ты шёл отсюда на работу.

Кончик бумажного жгутика потихонечку тлеет, и Нэш говорит:

— Я понимаю, что это ещё ничего не доказывает, но это всё-таки больше, чем есть у полиции на данный момент.

Кончик бумажного жгутика загорается крошечным язычком пламени, и Нэш говорит:

— Может, ты лучше меня объяснишься с полицией.

Язычок пламени на кончике скрученной салфетки разгорается сильнее. В баре достаточно много народу, и кто-нибудь обязательно это заметит. Как Нэш поджигает бумагу внутри помещения. Кто-нибудь обязательно это заметит и позвонит в полицию.

Я говорю, что он бредит.

Пламя всё разгорается.

Бармен глядит в нашу сторону. Бумажка в руках у Нэша становится всё короче.

Нэш просто сидит и наблюдает за тем, как огонь у него в руке выходит из-под контроля.

Жар от огня — у меня на губах, глаза немного слезятся от дыма.

Бармен кричит:

— Эй! Потуши сейчас же!

Нэш подносит горящую салфетку к своей бумажной тарелке.

Я хватаю его за запястье. На белом манжете его форменного халата — жёлтые пятна от горчицы. Кожа под манжетом — дряблая и мягкая. Я говорю: хорошо. Я говорю: только ты перестань, хорошо?

Я говорю, что он должен пообещать ничего никому не рассказывать.

И Нэш говорит, глядя на салфетку, так и горящую у него в руке:

— Да, — говорит. — Обещаю.

Глава семнадцатая

Элен подходит с бокалом вина в руке. Густой красный всплеск на самом доньшке. Бокал почти пуст.

И Мона говорит:

— Где ты это взяла?

— Вино? — говорит Элен. На ней пушистая шубка из какого-то меха разных оттенков коричневого с белыми кончиками. Шубка расстёгнута, и под ней — голубой костюм. Она допивает вино и говорит: — На каминной полке. Вон там, где поднос с апельсинами и какая-то бронзовая статуэтка.

Мона запускает руки в свои чёрные с красным дреды и сдавливает себе голову. Она говорит:

— Это *алтарь*. — Она показывает на пустой бокал и говорит: — Ты выпила моё подношение *Богине*.

Элен суёт бокал Моне в руку и говорит:

— Ну так сделай *Богине* ещё одно подношение, только на этот раз — двойную порцию.

Мы в квартире у Моны, где вся мебель составлена в маленьком патио за стеклянными раздвижными дверями и накрыта синей полиэтиленовой плёнкой. Таким образом, и большая гостиная, где мы сейчас находимся, и смежная с ней комната-ниша абсолютно пусты. Стены и ковролин на полу — светло-бежевые. На каминной полке — поднос с апельсинами и статуэтка с изображением чего-то индусского и танцующего. Там же разбросаны жёлтые маргаритки и розовые гвоздики. Выключатели залеплены широким прозрачным скотчем, так что свет не включишь при всём желании. Мона расставила на полу какие-то плоские камни и облепила их свечками. Свечи белые и красные. Горят не все. В камине вместо огня — ещё свечи. Струйки белого дыма поднимаются от ароматных курительных конусов, расставленных на камнях вместе со свечами.

Настоящий свет бывает только тогда, когда Мона открывает холодильник или микроволновку.

Из-за стен доносится лошадиное ржание и грохот пушек. То ли храбрая и упрямая красавица южанка пытается сдержать натиск Армии Союза, которая рвётся спалить квартиру соседей, то ли они смотрят фильм, врубив телевизор на полную громкость.

Из квартиры сверху доносится вой сирены и вопли, которые нам

положено игнорировать. Визг шин и грохот выстрелов — нам приходится делать вид, что это нормально. Это ненастоящее. Всего-навсего телевизор. От грохота взрывов дрожит потолок. Женщина умоляет кого-то, чтобы он её не насиловал. Это ненастоящее. Это всё понарошку. Всего-навсего фильм. Мы — цивилизация мальчиков-шутников. Мы кричим, что на стадо напали волки. А волков нет и в помине.

Эти драма-голики. Эти покое-фобы.

Мона босая, в белом махровом халате. Лак у неё на ногтях — чёрный. Она берёт у Элен бокал, измазанный по краю розовой помадой, и уносит его на кухню.

Звонят в дверь.

Мона сначала подходит к каминной полке и ставит на неё бокал с красным вином. Она говорит:

— Не ставьте меня в неудобное положение перед моим ковром, — и идёт открывать.

На пороге стоит невысокая женщина в очках в широкой оправе из чёрной пластмассы. На ней — стёганные кухонные рукавички, и она держит в руках накрытую крышкой кастрюльку.

Я принёс готовый салат из трёх видов фасоли, купленный в ближайшей кулинарии. Элен принесла макароны из «Чешской кухни».

Женщина в очках вытирает ноги о коврик у двери. Она смотрит на Элен и на меня и говорит:

— Шелковица, у тебя гости.

Мона бьёт себя по виску и говорит:

— Шелковица — это я. То есть это моё викканское имя. Шелковица. — Она говорит: — Воробей, это мистер Стрейтор.

Воробей молча кивает.

Мона говорит:

— А это моя начальница...

— Шиншилла, — говорит Элен.

Микроволновка начинает бибикать, и Мона уводит Воробья на кухню. Элен подходит к камину и отпивает вина из бокала.

Звонят в дверь. Мона кричит из кухни, чтобы мы открыли.

На этот раз — молодой человек с длинными светлыми волосами и рыжей козлиной бородкой, в спортивных штанах и футболке с длинными рукавами. В руках у него — железный котелок, накрытый стеклянной крышкой. Из-под крышки сочится какая-то липкая коричневая жижа, а сама крышка запотела изнутри. Он переступает через порог и вручает мне котелок. Снимает свои теннисные туфли, стягивает футболку через голову.

Его длинные волосы рассыпаются по плечам. Он швыряет футболку на котелок у меня в руках и снимает штаны. Штаны он тоже вручает мне и стоит, руки в боки, в чём мать родила.

Элен запахивает шубу и допивает остатки вина.

Котелок очень тяжёлый. От него горячий дух. Пахнет жжёным коричневым сахаром и то ли тофу, то ли грязными тренировочными штанами.

И Мона говорит:

— Устрица! — Она тоже вышла в коридор. Она забирает у меня одежду и котелок и говорит: — Устрица, это мистер Стрейтор. — Она говорит: — Все, кто не знает: это мой парень, Устрица.

Парень убирает волосы с глаз и таращится на меня. Он говорит:

— Шелковица думает, что вы знаете текст баюльной песни. — Его член похож на мягкий розовый сталактит из сморщенной кожи. Крайняя плоть проколота серебряным колечком.

Элен улыбается мне, но её зубы сжаты.

А этот парень, Устрица, хватается за отвороты Мониного халата и говорит:

— Блин, на тебе слишком много одежды. — Он наклоняется к ней и целует её, перегнувшись через котелок.

— Мы исполняем обряд без одежды, — говорит Мона, глядя в пол. Она краснеет и указывает котелком на Элен. — Устрица, это миссис Бойль, я на неё работаю.

Подробности об Устрице: у него очень светлые волосы, они топорщатся во все стороны, как иголки на сосне, в которую ударила молния. У него тело как у подростка. Ноги и руки как будто все состоят из отдельных сегментов: массивные крепкие мышцы и узкие суставы — колени, локти, запястья.

Элен протягивает ему руку. Устрица пожимает её и говорит:

— Кольцо с оливином...

Такой весь голый и молодой, он поднимает руку Элен повыше. Весь загорелый и мускулистый, он смотрит на её кольцо, потом скользит взглядом по её руке и заглядывает ей в глаза. Он говорит:

— Не всякий решится носить такой сильный камень. Страсть, заключённая в нём, подчиняет себе волю слабых. — И он припадает к нему губами.

— Мы исполняем обряд без одежды, — говорит Мона, — но вам не обязательно раздеваться. То есть *совершенно* не обязательно. — Она кивает в сторону кухни и говорит: — Устрица, пойдём — ты мне поможешь.

Уже уходя, Устрица оборачивается ко мне и говорит:

— Одежда — высшее проявление нечестности. — Он улыбается уголком рта, подмигивает и говорит: — Классный галстук, папаша.

Я считаю — раз, считаю — два, считаю — три...

Когда Мона уходит на кухню, Элен говорит мне:

— У меня в голове не укладывается, что вы всё ему рассказали.

Она имеет в виду Нэша.

У меня не было выбора. К тому же он всё равно не найдёт текста песни. Я сказал ему, что свою книгу я сжёл. И все остальные книги, которые мне удалось разыскать. Он не знает про Элен Гувер Бойль или про Мону Саббат. Он никогда не узнает, что это за стихотворение.

Из оставшихся книг ещё несколько дюжин хранится в публичных библиотеках. Может быть, мы сумеем их разыскать и уничтожить страницу 27, пока будем охотиться за изначальным источником.

— «Книга теней», — говорит Элен.

Гримуар, как его называют ведьмы. Книга заклинаний. Власть над миром, оформленная в слова.

Звонят в дверь. Ещё один парень раздевается догола прямо в прихожей. Он представляется — Ёж. Подробности о Еже: дряблые мышцы, отвисшая задница. После рукопожатия у меня на ладони остаются короткие чёрные волоски — точно такие же, какие растут у него на интимном месте.

Элен прячет руки в рукавах своей шубки. Она подходит к камину, берёт с алтаря апельсин и принимается его чистить.

Приходит мужчина по имени Барсук с живым попугаем на плече. Приходит женщина по имени Ломонос. Приходит Лобелия. Лазурная птица звонит в дверь. Потом — Опоссум. Потом приходит Чечевица, или она принесла чечевицу — я так и не понял. Элен выпивает ещё одно жертвенное подношение. Мона выходит из кухни с Устрицей, но уже без халата.

В коридоре у двери остаётся куча грязной одежды, и мы с Элен — единственные, кто одет. Где-то в куче одежды звонит мобильный, и Воробей отрывает его, чтобы ответить. Она наклоняется над разбросанной одеждой, её груди свисают, на ней — только очки в чёрной пластмассовой оправе. Она говорит в трубку:

— Псих, Полено и Пирог, юридические услуги. — Она говорит: — Можете описать вашу сыпь?

Мону я узнаю только по её красно-чёрной причёске и бесчисленным цепочкам на шее. Я стараюсь не особенно пялиться, куда не надо, но волосы у неё на лобке чисто выбриты. Если смотреть прямо спереди, её

бёдра представляют собой два идеальных изгиба с выбритым треугольничком между ними. Если смотреть в профиль, её груди слегка приподняты — как будто пытаются прикоснуться к собеседнику розовыми сосками. Если смотреть сзади, у неё крепкая ладная попка, и я считаю — четыре, считаю — пять, считаю — шесть...

В руках у Устрицы — белая пластиковая коробка из кулинарии.

Женщина по имени Жимолость — из одежды на ней только хлопчатобумажный платок-бандана — рассказывает о своих прошлых жизнях.

И Элен говорит:

— А разве реинкарнация — это не просто способ оттянуть неизбежное?

Я интересуюсь, когда мы будем кушать.

И Мона говорит:

— Господи, вы прямо как мой отец.

Я спрашиваю у Элен, как ей удаётся держаться, чтобы не поубивать тут всех.

Она берёт очередной бокал вина с каминной полки и говорит:

— Пожалуй, их стоит убить. Из милосердия. Чтобы не мучились.

Курительные палочки пахнут жасмином, а все собравшиеся в этой комнате пахнут курительными палочками.

Устрица выходит на середину комнаты, поднимает над головой коробку и говорит:

— Ладно. Кто принёс эту гадость?

Это мой салат из трёх видов фасоли.

А Мона говорит:

— Не надо, Устрица, очень тебя прошу.

Устрица держит коробку за ручку безглаго, двумя пальцами. Он говорит:

— Еда без мяса означает, что в ней нет мяса. А ты, пожалуйста, помолчи. Кто принёс *это*? — Волосы у него в подмышках ярко-рыжие. Почти оранжевые. И на лобке тоже.

Я говорю, это всего лишь салат из фасоли.

— С чем? — хмурится Устрица, потряхивая коробку.

Ни с чем. Без всего.

В комнате так тихо, что слышен шум битвы при Геттисберге из соседней квартиры. Задумчивые переборы гитары — кто-то депрессирует наверху под народную музыку. Актёр орёт благим матом, лев истошно ревёт, бомбы с грохотом падают с неба.

— С ворчестерширским соусом, — говорит Устрица. — А это значит, анчоусы. То есть мясо. То есть жестокость и смерть. — Он держит коробку в одной руке, а второй рукой указывает на неё. — Сейчас я спущу это в унитаз, где ему самое место.

А я считаю — семь, я считаю — восемь...

Воробей раздаёт всем маленькие круглые камушки из плетёной корзины у неё в руке. Один камушек достаётся мне. Он холодный и серый, и она говорит:

— Сожмите его в руке и постарайтесь настроиться на волну его энергии. Для обряда мы все должны настроиться на одну волну.

Я слышу, как в туалете спустили воду.

Попугай на плече Барсука вертит головой из стороны в сторону и дёргает клювом зелёные перья. Наклоняет голову, зацепляет перо клювом, как будто кусает, и резко тянет. Кожа на месте вырванных перьев кажется пупырчатой и воспалённой. Попугай сидит на полотенце, которое Барсук положил на плечо, чтобы ему было за что уцепиться. Сзади полотенце испачкано желтоватыми пятнами — птичьим дерьмом. Попугай вырывает очередное перо и деловито его глотает.

Воробей даёт камень Элен, и Элен убирает его в свою голубую сумочку.

Я отбираю у неё бокал с вином и делаю глоток. Сегодня в редакции я узнал, что у человека, который умер у лифта — у человека, которому я пожелал смерти, — было трое детей, причём самому старшему нет ещё и шести. Полицейский, которого я убил, содержал престарелых родителей, чтобы их не отправили в богадельню. У них с женой был приёмный ребёнок. Он работал ещё и футбольным тренером — в детской команде. Женщина с портативной рацией была беременна. На раннем сроке.

Я отпиваю ещё вина. На вкус оно напоминает розовую помаду.

Объявление в сегодняшнем номере звучит так:

| |
|---|
| <p>ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ DORSETT</p> |
|---|

В объявлении сказано: «Если после еды вас тошнит или если у вас вдруг случился понос, звоните по указанному телефону».

Устрица говорит, обращаясь ко мне:

— Мона думает, что вы убили доктора Сару, но мне кажется, что вы ни хрена не знаете.

Мона хочет поставить на каминную полку очередное жертвенное подношение, но Элен забирает бокал у неё из рук.

Устрица говорит, обращаясь ко мне:

— У вас нету власти над жизнью и смертью, разве что только тогда, когда вы заказываете в Макдоналдсе гамбургер. — Он дышит мне прямо в лицо. Он говорит: — Вы платите свои грязные деньги, а где-то совсем в другом месте топор опускается на невинное существо.

И я считаю — девять, считаю — десять...

Воробей демонстрирует мне какую-то толстую книгу. Она сама переворачивает страницы. Там — фотографии каких-то жезлов и железных котлов. Серебряных колокольчиков и кристаллов всевозможных расцветок и форм. Ритуальные ножи с чёрными рукоятками, они называются «атаме». Воробей показывает мне фотографии сухих трав, связанных пучками-метёлками, чтобы разбрызгивать освящённую воду. Она показывает мне амулеты, отполированные до зеркального блеска, чтобы отражать плохую энергию. Ритуальный нож с белой ручкой называется «боллине».

Её груди лежат на раскрытой книжке, закрывая по полстраницы.

Устрица никак не отходит. Вены у него на шее вздуваются. Он сжимает кулаки и говорит, обращаясь ко мне:

— Знаете, почему большинство из тех, кто пережил геноцид, становятся вегетарианцами? Потому что они знают, что это такое, когда с тобой обращаются как с животным.

Он так и пышет жаром. Он говорит:

— А в курятниках-инкубаторах, где содержат несушек... вам известно, что всех птенцов мужского пола перемалывают на удобрения — заживо?

Воробей перелистывает свою книгу и говорит:

— Если сравнить наши цены с ценами других поставщиков ритуальных магических принадлежностей, то сразу понятно, что соотношение цена — качество у нас самое лучшее.

Следующее подношение Богине выпиваю я.

Следующее за ним выпивает Элен.

Устрица ходит кругами по комнате. Снова подходит ко мне и говорит:

— А вам известно, что большинство свиней не успевают умереть от потери крови, когда их топят в кипящей воде?

Следующее подношение опять выпиваю я. Вино похоже по вкусу на жасминовые курения. Оно похоже по вкусу на кровь убиенных животных.

Элен уходит на кухню с пустым бокалом. Короткая вспышка нормального настоящего света — это Элен открывает холодильник и достаёт кувшин с красным вином.

Устрица подходит ко мне сзади и кладёт подбородок мне на плечо. Он говорит:

— Большинство коров умирает не сразу. — Он говорит: — Корова на шею накидывают петлю и волокут её через бойню. И отрезают ей ноги, когда она ещё жива. Они очень громко кричат, коровы.

У него за спиной голая девушка по имени Морская Звезда отвечает на звонок по мобильному. Она говорит в трубку:

— «Дуля, Домбра и Дурында», юридические услуги. — Она говорит: — А какого цвета грибок?

Барсук выходит из ванной, пригибаясь, чтобы попугай не задел головой о притолоку. Кусочек туалетной бумаги прилип к его голой заднице. Его кожа кажется пупырчатой и воспалённой. Как будто из неё повыдергали все перья. Мне вовсе не интересно, сидел ли попугай у него на плече, пока он сам сидел на толчке.

В дальнем углу гостиной — Мона.

Шелковица.

Болтает о чём-то с Жимолостью, смеётся. Она убрала свои чёрно-красные дреды в высокий небрежный пучок. Её пальцы унизаны кольцами с большими красными стекляшками. На шее — бессчётные цепочки с талисманами и магическими амулетами. Дешёвая аляповатая бижутерия. Маленькая девочка наряжается во взрослую тётю. Она босиком.

Ей столько лет, сколько было бы сейчас моей дочке, если бы у меня была дочь.

Элен возвращается в комнату. Она слюнявит два пальца и обходит гостиную, гася курящиеся благовонные конусы влажными пальцами. Прислонившись к каминной полке, она подносит бокал вина к ядовито-розовым губам. Она смотрит вверх бокала, наблюдая за тем, что творится в комнате. Она наблюдает за тем, как Устрица кружит вокруг меня.

Ему столько лет, сколько было бы сейчас её сыну Патрику.

Элен столько лет, сколько было бы сейчас моей жене, если бы у меня была жена.

Устрица — это сын, который был бы у Элен, если бы у неё был сын.

Гипотетически, разумеется.

Это могла бы быть моя жизнь, если бы у меня была жизнь. Моя жена — пьяная и холодная. Мы с ней давно уже чужие люди. Моя дочь увлекается оккультизмом и проводит какие-то идиотские ритуалы. Она нас стыдит, своих родителей. Её бойфренд — вот этот хипповский придурок — пытается затеять ссору со мной, её отцом.

Может быть, всё-таки можно вернуться в прошлое.

Повернуть время вспять.

И воскресить мёртвых. Всех мёртвых — прошлых и нынешних.

Может быть, это мой второй шанс. Прожить жизнь заново — так, как я только что описал, как я мог бы её прожить.

Элен в шиншилловой шубе наблюдает за тем, как попугай поедает себя. Она наблюдает за Устрицей.

Мона кричит:

— Прошу внимания. — Она говорит: — Пора начинать Заклинание. Но сначала нам нужно создать священное пространство.

У соседей израненный ветеран Гражданской войны возвращается домой — к печальной музыке и Реконструкции.

Устрица ходит кругами вокруг меня. Камень у меня в кулаке уже тёплый. Я считаю — одиннадцать, считаю — двенадцать...

Мона Саббат должна быть с нами. Нам нужен кто-то, кто не испачкал руки в крови. Мона, Элен, я и Устрица — мы вчетвером отправляемся в путь. Ещё одна с виду благополучная, но совершенно несостоятельная семья. Всей семьёй — в отпуск. На поиски нечестивого Грааля.

Всей семьёй — на сафари. Сотня бумажных тигров, которых надо убить по пути. Сотня библиотек, которые нам предстоит ограбить. Книги, которые надо разоружить. Целый мир, который надо спасти от баюльных чар.

Лобелия говорит Гвоздике:

— Читала сегодня в газете про все эти смерти? Там пишут, что это похоже на болезнь легионеров, но, по-моему, это больше похоже на чёрную магию.

Сверкая русыми волосами в подмышках, Мона сгоняет присутствующих на середину комнаты.

Воробей тычет пальцем в свой раскрытый каталог и говорит:

— Это необходимый начальный минимум.

Устрица убирает волосы с глаз и давит мне на плечо подбородком. Потом обходит меня и тыкает указательным пальцем мне в грудь, точно по центру моего синего галстука. Давит так, что мне больно. Он говорит:

— Послушай, папаша. — Он тычет пальцем мне в грудь и говорит: — Единственное, что ты знаешь в смысле баюльных песен, это: «Мне бифштекс хорошо прожаренный».

И я прекращаю считать.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда у тебя сводит ногу. Я кладу руки ему на грудь и отталкиваю от себя. Все умолкают и смотрят на нас, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Мне снова пришлось убивать. Бойфренда Моны. Сына Элен. Устрица на миг замирает и смотрит на меня из-под светлых волос, снова упавших ему на глаза.

С плеча Барсука падает попугай.

Устрица поднимает руки, растопырив пальцы, и говорит:

— Спокойно, папаша. Не горячись. — Вместе с Воробьём и остальными он идёт посмотреть на мёртвого попугая у ног Барсука. Мёртвого и наполовину ошипанного. Барсук трогает птицу носком сандалии и говорит:

— Ты чего, Смелый?

Я смотрю на Элен.

Мою жену. Таким вот новым и извращённым способом. Пока смерть не разлучит нас.

Может быть, если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое — чтобы вернуть их к жизни. Тех, кого ты убил.

Элен тоже смотрит на меня. Бокал у неё в руке испачкан розовым. Она качает головой и говорит:

— Это не я. — Она поднимает три пальца, соединив на ладони большой и мизинец, и говорит: — Честное слово ведьмы.

Глава восемнадцатая

Здесь и сейчас я пишу эти строки — на подъезде к Бигз-Джанкин, штат Орегон. Мы с Сержантом стоим на обочине шоссе I-84; рядом с нашей машиной, тут же на обочине, лежит старая меховая шуба. Шуба, щедро политая кетчупом, привлекает мух. Это наша приманка.

На этой неделе в бульварных газетах — очередное чудо.

Его называют Иисусом Задавленных Зверюшек. В бульварных газетах его называют «Мессией с шоссе I-84». Какой-то парень катается по шоссе взад-вперёд, и если где-нибудь на дороге лежит мёртвый зверь, сбитый машиной, он останавливается, возлагает на него руки, и — аминь. Мёртвая кошка, раздавленная собака, даже олень, перерезанный надвое трактором, — они вдруг дышат и нюхают воздух. Они встают на своих перебитых лапах и моргают глазами, которые выклевали птицы.

Это записано на видео. Фотографии лежат в Интернете.

Кошка, дикобраз или койот — зверь встаёт, а Иисус Задавленных Зверюшек берёт его голову в ладони и что-то шепчет ему на ухо.

И через две-три минуты олень, собака или енот — ещё две-три минуты назад это было сплошь окровавленный мех и перебитые кости, мясо для воронов и червей — убегает к себе восвояси, живой и здоровый.

Мы с Сержантом сидим в машине. Неподалёку от нас, но всё же достаточно далеко, на обочине останавливается пикап. Из машины выходит старик, открывает заднюю дверцу и достаёт что-то завернутое в клетчатый плед. Приседает на корточки, чтобы положить свёрток на землю. Машины проносятся мимо в жарком утреннем мареве.

Старик разворачивает плед. Там у него мёртвый пёс. Груда коричневой шерсти. Ничем практически не отличается от моей меховой шубы.

Сержант достаёт обойму из своего пистолета. Обойма заряжена полностью. Он возвращает её на место.

Старик наклоняется над своим мёртвым псом, опираясь ладонями о горячий асфальт. Мимо проносятся легковушки и грузовики, а он трётся щекой о кучку коричневой шерсти.

Он встаёт и оглядывает шоссе в обе стороны. Садится обратно в машину и прикуривает сигарету. Он ждёт.

Мы с Сержантом сидим в машине, мы ждём.

Вот мы здесь, с опозданием на неделю. Всегда отставая на шаг.

Задним числом.

Первые, кто столкнулся с Иисусом Задавленных Зверюшек, были дорожные рабочие, которые, когда перекладывали асфальт, откопали мёртвую собаку в нескольких милях отсюда. Не успели они запихнуть труп в мешок, чтобы закопать в ближайшем лесочке, как к ним подъехала машина из проката автомобилей. Подъехала и остановилась. В машине сидели мужчина и женщина, мужчина был за рулём. Женщина осталась в машине, а мужчина выскочил и подбежал к рабочим. Он крикнул им: погодите. Сказал, что он может помочь.

Труп уже разлагался — мешок окровавленной шерсти, кишачий червями.

Мужчина был молодой, светловолосый. Его длинные волосы развевались на ветру всякий раз, когда мимо проносилась машина. У него была рыжая козлиная борода и шрамы на обеих щеках, под глазами. Шрамы были ярко-красными, и молодой человек запустил руку в мусорный мешок, где лежала мёртвая собака, и сказал, что она никакая не мёртвая.

Рабочие рассмеялись. И закинули лопату обратно в кузов.

Мешок зашевелился, и внутри кто-то тихонечко застонал.

А потом залаял.

И вот — здесь и сейчас. Я пишу эти строки, а старик ждёт у себя в машине, неподалёку от нас, но всё же достаточно далеко. Мимо проносятся легковушки и грузовики. На той стороне шоссе останавливается «универсал». Они приехали всей семьёй. Они открывают багажник, и внутри — мёртвая рыжая кошка. Чуть подальше — женщина с ребёнком сидят у обочины на раскладных стульях, а рядом с ними, на бумажном полотенце, лежит хомячок.

Ещё дальше — пожилая пара. Они стоят, держа зонтик от солнца над молодой женщиной, обмякшей в инвалидной коляске.

Старик, мать с ребёнком, семейство в «универсале» и пожилая пара — все с надеждой вглядываются в машины, которые проносятся мимо.

Иисус Задавленных Зверюшек появляется каждый раз на новой машине: двухдверной, четырехдверной или в пикапе. Иногда он приезжает на мотоцикле. Однажды приехал в машине с жилым прицепом.

На фотографиях и на видео — это всегда молодой человек с длинными светлыми волосами, рыжей козлиной бородкой и шрамами на щеках. Один и тот же молодой человек. С ним всегда приезжает женщина, но она никогда не выходит из машины.

Пока я пишу эти строки, Сержант целится в нашу шубу. Старая меховая шуба. Кетчуп и мухи. Наша приманка. Как и все остальные, мы

здесь ждём чуда. Мы ждём мессию.

Глава девятнадцатая

Едем в машине. Всё, что снаружи, — жёлтое. Жёлтое до самого горизонта. Но не лимонно-жёлтое, а жёлтое, как теннисный мячик. Как жёлтый теннисный мячик на ярко-зелёном корте. Мир по обеим сторонам шоссе — одного цвета.

Жёлтого.

Вздымаются, пенятся волны жёлтого, расходятся рябью под порывами горячего ветра от проносящихся мимо машин, плещутся через гравиевые обочины и бегут к жёлтым холмам. Жёлтые. Светят жёлтым в машину. Нас четверо: я, Элен, Мона и Устрица. Наша кожа и наши глаза — всё жёлтое. Подробности об окружающем мире. Он жёлтый.

— *Brassica tournefortii*, — говорит Устрица. — Марокканская горчица в цвету.

Мы едем в машине Элен, где пахнет горячей кожей. Элен за рулём. Я сижу впереди, рядом с ней. Устрица с Моной — на заднем сиденье. На сиденье между нами — между мной и Элен — лежит её ежедневник. Красный кожаный переплёт липнет к коричневой коже сиденья. Атлас автомобильных дорог США. Компьютерная распечатка списка всех городов, где в библиотеках есть книжка, которая нам нужна. В жёлтом свете синяя сумочка Элен кажется зелёной.

— Как же красиво. Я бы всё отдала, чтобы быть индианкой. — Мона смотрит в окно, прислонившись лбом к стеклу. — Родиться в племени черноногих или сиу лет двести назад... родиться свободной и просто жить в полной гармонии с природой. В мире, где всё натуральное.

Я тоже смотрю в окно, прижавшись лбом к стеклу. Мне интересно, что там такого красивого видит Мона. В машине работает кондиционер, но стекло — обжигающе горячее.

Странное совпадение, но в атласе автомобильных дорог весь штат Калифорния раскрашен точно таким же ярко-жёлтым цветом.

Устрица громко сморкается, фыркает и говорит Моне:

— Индейцы *этого* не видели.

Он говорит, у ковбоев не было перекасти-поля. Перекасти-поле — русский чертополох — появилось в Америке только в конце девятнадцатого века. Семена завезли из Евразии на шерсти овец. Семена марокканской горчицы завезли вместе с землёй, которую использовали как балласт на парусных судах. Те серебристые деревья — это лох узколистый, *elaegunus*

augustifolia. Эта белая пушистая травка, похожая на кроличьи уши, что растёт вдоль обочины, — verbascum thapsus, царский скипетр, или коровяк высокий. Искорёженные чёрные деревья, которые мы проехали только что, — robina pseudoacacia, робиния лжеакация, или белая акация. Тёмно-зелёный кустарник с ярко-жёлтыми цветами — раkitник метельчатый, cytisus scoparius.

Это все проявления биологической пандемии, говорит он.

— Все эти старые голливудские вестерны, — говорит Устрица, глядя в окно на просторы Невады, примыкающие к шоссе, — с перекасти-поле, костром кровельным и другими растениями-травами. — Он говорит, качая головой: — Изначально их на континенте не было. Но это всё, что у нас осталось. — Он говорит: — Сейчас в природе не осталось почти ничего натурального.

Устрица колотит по спинке моего сиденья:

— Эй, папаша. Какая в Неваде самая крупная ежедневная газета?

«Рено», говорю. Или «Вегас»?

Устрица смотрит в окно, и в отражённом свете его глаза кажутся жёлтыми. Он говорит:

— И та, и та. И ещё «Карсон-Сити». Все три.

Я говорю, ага. И «Карсон-Сити» тоже.

Леса вдоль западного побережья задыхаются от метельчатого раkitника, от раkitника стелющегося, от плюща и ежевики, говорит он. Все эти растения завезли сюда из Старого Света. Исконные деревья гибнут от шелкопряда непарного, завезённого в Америку в 1860 году Леопольдом Трувелло, который хотел разводить их для шёлка. Пустыни и прерии задыхаются от горчицы, костра кровельного и песколюба песчаного.

Устрица расстёгивает рубашку, и на груди у него висит какой-то бисерный кошелёчек. На шнурке, унизанном бусами.

— Мешочек для талисманов индейцев хопи, — говорит он.

Элен смотрит на него в зеркало заднего вида. Её руки лежат на руле. На руках — облегающие перчатки из телячьей кожи. Она говорит:

— Симпатичная штучка.

Устрица снимает рубашку с плеч. Бисерный мешочек висит у него на груди как раз между сосками. На загорелой груди нет ни единого волоска. Мешочек сплетён из синего бисера с красным крестом в центре. В жёлтом свете его загар кажется оранжевым. Его светлые волосы словно охвачены пламенем.

— Я сама его сделала, — говорит Мона. — Долго делала, с февраля.

Мона с её чёрно-красными дредами и бусами из горного хрусталя. Я

интересуюсь: она что, индианка из племени хопи?

Устрица открывает мешочек и роется пальцами в содержимом.

А Элен говорит:

— Мона, какая ты индианка?! Ты вообще непонятно кто. Твоя настоящая фамилия — Штейнер.

— Вовсе не обязательно быть хопи, — говорит Мона. — Я его сделала по картинке из книжки.

— Значит, это не настоящий мешочек для талисманов хопи, — говорит Элен.

А Мона говорит:

— Нет, настоящий. Он — точно такой же, как в книжке. — Она говорит: — Я тебе покажу.

Из мешочка хопи Устрица достаёт мобильный.

— Самое замечательное в этих народных промыслах, они не требуют каких-то особых умений. Смотришь программу по телевизору, где тебе объясняют, как что-то делать, и сразу же делаешь, — говорит Мона. — И при этом соприкасаешься с древними энергиями.

Устрица выдвигает антенну и набирает номер. У него под ногтями грязь.

Элен наблюдает за ним в зеркало заднего вида.

Мона наклоняется вперёд и поднимает с пола под сиденьем брезентовый рюкзак. Вынимает оттуда какой-то спутанный клубок из верёвок и перьев. Похоже на куриные перья, раскрашенные в яркие пасхальные цвета — розовый и голубой. На верёвках висят медные монетки и бусины из чёрного стекла.

— Это ловец снов индейцев навахо, — поясняет она, встряхивая клубок. Некоторые верёвки распутываются и свисают свободными концами. Несколько бусин падает в рюкзак у неё на коленях. Розовые перья разлетаются по салону, и она говорит: — Я думаю использовать монеты И-Цзын. Чтобы усилить энергетику.

Под рюкзаком, под цветастой юбкой — её лобок гладко выбрит. Стекланные бусины скатываются туда.

Устрица говорит в трубку:

— Да, мне нужен номер отдела рекламы «Карсон-Сити Телеграф-Стар».

У него перед лицом проплывает розовое пёрышко, и он дует на него, отгоняя.

Мона подцепляет несколько узелков своими чёрными ногтями и говорит:

— Это немного сложнее, чем описано в книжке.

Одной рукой Устрица держит трубку у уха, второй — поглаживает бисерный мешочек у себя на груди.

Мона достаёт из рюкзака какую-то книжку и передаёт её мне.

Устрица замечает, что Элен наблюдает за ним в зеркало заднего вида, подмигивает ей и щиплет себя за сосок.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается царь Эдип.

Его член похож на мягкий розовый сталактит из сморщенной кожи. Крайняя плоть проколота серебряным колечком. Неужели Элен на такое польстится?

— В прежние времена фермеры сажали костёр кровельный, потому что он зеленеет уже ранней весной — чтобы был корм скоту, — говорит Устрица, кивая на жёлтый мир за окном.

Первые участки, засеянные костром кровельным, появились на юге Британской Колумбии, в Канаде, в 1889 году. Но из-за пожаров он распространился. Каждый год эта трава высыхает в пыль, и теперь в тех местах, где пожары случались раз в десять лет, они случаются ежегодно. Костёр кровельный восстанавливается очень быстро. Он любит огонь. А исконные растения, полынь и флоксы, — они не любят. И каждый год после пожара костра кровельного становится всё больше, а других растений всё меньше. Олени и антилопы, которые питались этими другими растениями, либо вымерли, либо ушли на другие территории. И кролики тоже. И хищные птицы и совы, которые кроликами питаются. Мыши вымирают от голода, а значит, и змеи, которые питаются мышами, тоже.

В настоящее время костёр кровельный является доминирующим растением внутриматериковых пустынь от Канады до Невады, он уже покрывает пространство размером в две Небраски и распространяется на тысячи акров ежегодно.

Но самое смешное, говорит Устрица, что домашний скот не ест этот самый костёр кровельный. Коровы предпочитают обыкновенную траву. Которая ещё осталась.

Монина книжка называется «Прикладное искусство американских индейцев». Когда я её открываю, ещё несколько розовых и голубых перьев вылетает наружу.

— Теперь у меня главная мечта в жизни — найти по-настоящему прямое дерево, — говорит Мона. У неё в дредах застряло розовое перо. — И сделать тотемный столб или что-нибудь в этом роде.

— Если смотреть в перспективе исконных растений, — говорит Устрица, — то Джонни Эпплсид был злобучим биологическим

террористом.

Он говорит, что Джонни Эпплсид мог бы и оспу распространять с тем же успехом.

Устрица набирает ещё один номер и подносит телефон к уху. Он колотит по спинке переднего сиденья и говорит:

— Мам, пап? Какой самый шикарный ресторан в Рено?

Элен пожимает плечами и смотрит на меня. Она говорит:

— «Пустынное небо» в Тахое — очень милое место.

Устрица говорит в трубку:

— Хочу поместить у вас объявление шириной в три колонки. — Он смотрит в окно и говорит: — Шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов. Заголовок большими буквами: «Вниманию клиентов ресторана «Пустынное небо».

Устрица говорит:

— Текст объявления такой: «После обеда в указанном ресторане вам пришлось лечь в больницу с острым пищевым отравлением? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Устрица называет номер телефона. Выуживает из мешочка для талисманов кредитную карточку и зачитывает её номер и дату, до которой она действительна. Он просит, чтобы ему перезвонили, когда объявление будет набрано, чтобы сверить окончательный текст. Он говорит, что объявление должно появляться каждый день на протяжении всей следующей недели в разделе ресторанной критики. Он закрывает крышку на телефоне и убирает антенну.

— Сколько коренных американцев погибло от болезней, завезённых из Старого Света, от жёлтой лихорадки и оспы, — говорит Устрица. — И растения тоже гибнут. В 1930 году, с грузом брёвен для мельницы, сюда из Голландии завезли болезнь, поражающую деревья, в частности вязы. В 1904-м — болезнь, поражающую каштаны. Патогенный грибок, поражающий вязы. Экологи опасаются, что азиатские жуки-дровосеки, которые появились в Нью-Йорке в 1996-м, в скором времени уничтожат все пенсильванские клёны.

Для контроля над популяцией луговых собачек, говорит Устрица, фермеры заразили колонии этих животных бубонной чумой, и к 1930 году вымерло 98 процентов всех луговых собачек. От чумы также погибло ещё 34 вида коренных грызунов. И каждый год от неё умирает несколько человек, кому особенно «повезёт».

Совершенно без всякой связи на ум приходит баюльная песня.

— А вот мне, — говорит Мона, и я возвращаю ей книгу, — мне нравятся древние традиции. Знаете, как я вижу нашу поездку? Как мой личный духовный поиск. Я приму новое индейское имя, — говорит она, — и полностью преобразусь.

Устрица достаёт сигарету из своего хопи-мешочка и говорит:

— Ничего, если я закурю?

И я говорю: очень даже чего.

А Элен говорит:

— Ничего.

Это её машина.

И я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

То, что мы называем природой, говорит Устрица, это мир, который мы убиваем и который скоро начнёт убивать нас. Каждый одуванчик — это бомба с уже включившимся часовым механизмом. Биологическое загрязнение. Симпатичное жёлтое опустошение.

Поезжайте в Париж или в Пекин, говорит Устрица, везде — гамбургер из Макдоналдса, экологический эквивалент привилегированной формы жизни. Все города, все места на Земле — одинаковые. Пуэрария. Мидии. Водяной гиацинт. Скворцы. Бургер-Кинг.

А всё, что есть настоящего и исконного, всё, что есть уникального, — всё методично искореняется.

— Единственное, что у нас останется в плане биологического разнообразия, — говорит он, — это кока против пепси.

Он говорит:

— Мы пытаемся изменить мир, совершая при этом ошибку за ошибкой.

Глядя в окно, Устрица достаёт пластмассовую зажигалку из своего бисерного мешочка. Встряхивает её в руке, бьёт о ладонь.

Я нюхаю розовое пёрышко из книги и представляю, что волосы Моны пахнут точно так же. Вертя пёрышко двумя пальцами, я спрашиваю у Устрицы, когда он звонил в газету и давал объявление, зачем ему это надо?

Устрица прикуривает сигарету. Убирает мобильный и зажигалку обратно в бисерный мешочек.

— Он так зарабатывает на жизнь, — говорит Мона. Она распутывает узелки на своём ловце снов. Под её яркой оранжевой блузкой набухают маленькие розовые соски.

Я считаю — четыре, считаю — пять, считаю — шесть...

Держа сигарету в зубах, Устрица застёгивает рубашку обеими руками. Он щурится на дым и говорит:

— Помнишь Джонни Эпплсида?

Элен вертит ручку кондиционера, прибавляя мощность.

Устрица застёгивает последнюю пуговицу и говорит:

— Не волнуйся, папаша. Я просто сею свои семена.

Глядя на жёлтый мир жёлтыми же глазами, он говорит:

— Просто это моё поколение пытается уничтожить существующую культуру, распространяя свои болезни.

Глава двадцатая

Женщина открывает дверь. Мы с Элен стоим на крыльце. У меня в руках — огромная косметичка Элен, скорее даже не косметичка, а такой маленький чемоданчик. Элен тычет в женщину пальцем с длинным розовым ногтем и говорит:

— Если вы мне дадите пятнадцать минут, вы получите совершенно новую себя.

Сегодня Элен во всём красном, но это не землянично-красный. Скорее он красный, как земляничный мусс со взбитыми сливками, сервированный в вазочке из матового хрусталя. Во взбитом облаке розовых волос её серёжки мерцают розовым и красным.

Женщина вытирает руки кухонным полотенцем. Она обута в мужские коричневые мокасины на босу ногу. На ней — фартук в жёлтых цыплятках и какое-то неприметное платье. Она убирает волосы со лба тыльной стороной ладони. Цыплята на фартуке держат в клювах кухонные полотенца, ложки и черпаки. Глядя на нас сквозь ржавую сетку на второй двери, женщина говорит:

— Что?

Элен оборачивается ко мне. Потом смотрит на нашу машину, припаркованную у тротуара. Мона с Устрицей — они ждут в машине — пригнулись, чтобы их не было видно с крыльца. Устрица шепчет в трубку мобильного телефона:

— А зуд постоянный или периодический?

Элен Гувер Бойль кладёт руку на грудь. Её шёлковой блузки почти не видно за спутанными цепями с розовыми камнями и жемчугом. Она говорит:

— Миссис Пелсон? Мы из «Волшебного макияжа».

Элен протягивает руку вперёд и раскрывает ладонь, как будто разбрасывает слова.

Она говорит:

— Меня зовут Бренда Уильямс. — Она машет рукой назад, как будто забрасывает слова за плечо. — А это мой муж, Роберт Уильямс. — Она говорит: — И сегодня у нас для вас есть подарок.

Женщина смотрит на косметичку у меня в руке.

И Элен говорит:

— Нам можно войти?

Мне казалось, что всё будет проще.

Вся эта затея:ходишь в библиотеку, берёшь книгу с полки, идёшь в туалет и вырываешь страницу. Спускаешь воду в унитазе. Я думал, что так всё и будет. Легко и просто.

Две первые библиотеки — никаких проблем. В третьей книги на полке не оказалось. Мы с Моной пошли расспрашивать библиотекаря. Элен с Устрицей ждали в машине.

Библиотекарь — парень с длинными волосами, собранными в хвост. С серьгами в обоих ушах. Такие пиратские кольца. Пиджак из шотландки. Он говорит, что книжка — он проверяет компьютерную базу данных — сейчас на руках.

— Это действительно очень важно, — говорит Мона. — Я брала эту книгу до этого и оставила кое-что между страниц.

Ничем не могу помочь, говорит парень.

— А у кого сейчас книжка, не скажете? — говорит Мона.

И он говорит: извините. Ничем не могу вам помочь.

А я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

Конечно, каждому хочется хоть ненадолго стать Богом, но для меня — это работа на полный рабочий день.

Я считаю — четыре, считаю — пять...

Через пару минут у столика библиотекаря появляется Элен Гувер Бойль. Она улыбается, пока парень не отрывается от своего компьютера, и разводит руками с кольцами на всех пальцах.

Она улыбается и говорит:

— Молодой человек. Моя дочь брала у вас в библиотеке книжку и забыла в ней старую семейную фотографию. — Она трёт большим пальцем по указательному и среднему и говорит: — Я понимаю, у вас тут свои правила, но вы можете сделать доброе дело и не за просто так.

Он смотрит на её пальцы, у него на лице пляшут радужные отблески преломлённого света. Он облизывает губы. Но потом всё-таки говорит: нет. Оно того не стоит. Человек, который взял книжку, может пожаловаться начальству, и тогда его уволят с работы.

— Мы обещаем, — говорит Элен, — вас никто не уволит.

Мы с Моной сидим в машине. Я считаю — 27, считаю — 28, считаю — 29... я изо всех сил пытаюсь сдержать себя, чтобы не поубивать всех в этой библиотеке и не посмотреть адрес в компьютере самому.

Элен возвращается с листочком бумаги в руках. Она наклоняется к открытому окошку у водительского сиденья и говорит:

— Есть хорошая новость, и есть плохая.

Мона с Устрицей валяются на заднем сиденье. При появлении Элен они садятся. Я сижу впереди и считаю. И Мона говорит:

— У них три экземпляра, и они все на руках.

Элен садится за руль и говорит:

— Я знаю миллион способов, как найти оптовых покупателей среди незнакомых людей.

Устрица убирает волосы с глаз и говорит:

— Отлично сработано, мамочка.

В первом доме всё было просто. И во втором тоже.

Прежде чем ехать к третьему, Элен тщательно перебирает содержимое своей косметички — позолоченные тюбики помады и яркие коробочки. Она открывает розовую помаду, щурится на неё и говорит:

— Придётся всё это выбросить. Если я не ошибаюсь, то у последней тётки был стригущий лишай.

Мона наклоняется вперёд и говорит Элен:

— У тебя замечательно получается, правда.

Элен открывает круглые коробочки с тенями для век: коричневые, розовые и персиковые. Она внимательно их рассматривает и даже нюхает. Она говорит:

— У меня большой опыт.

Она смотрится в зеркало заднего вида и поправляет причёску. Смотрит на часы, щиплет себя за подбородок и говорит:

— Наверное, мне не стоит вам этого говорить, но я раньше работала продавцом-консультантом в косметической фирме.

Мы припарковали машину у проржавелого живого трейлера на квадратной площадке пожухлой травы, усыпанной пластмассовыми детскими игрушками. Элен закрывает свою косметичку. Смотрит на меня и говорит:

— Готов повторить?

Уже внутри трейлера Элен говорит хозяйке в фартуке с цыплятами:

— Это абсолютно бесплатно, и вы ничего не обязаны покупать. — Она подталкивает женщину на диван.

Сама Элен садится напротив, так близко, что их колени почти соприкасаются, и проводит ей по лицу мягкой кисточкой для румян. Она говорит:

— Втяните щёки, голубушка.

Одной рукой она хватает хозяйку за волосы и поднимает прядь вертикально вверх. Волосы у хозяйки светлые, с тёмно-русыми корнями. Свободной рукой Элен быстро начёсывает прядь гребешком и укладывает

её в художественном беспорядке, так что волосы получаются разной длины. Она берёт ещё одну прядь и делает то же самое. Потом подправляет причёску расчёской, так что голова хозяйки теперь представляет собой взбитое облако светлых волос. Тёмных корней совершенно не видно.

И я говорю: так *вот* как ты это делаешь.

Причёска получилась в точности как у Элен, только не розовая, а белая.

На журнальном столике перед диваном — большой букет роз и лилий, но цветы давно увяли и побурели. Букет стоит в вазе зелёного стекла, но воды — только на доньшке. Причём вода уже чёрная. На обеденном столе в кухне — тоже цветы. И тоже — увядшие. В протухшей вонючей воде. На полу вдоль дальней стены гостиной — ещё несколько ваз с цветами. Пожухлая зелень, сморщенные увядшие розы и чёрные гвоздики, покрытые сероватым налётом плесени. В каждый букет воткнута маленькая картонная карточка со словами: «Наши искренние соболезнования».

И Элен говорит:

— Теперь закройте глаза руками.

Она щедро опрыскивает голову хозяйки лаком для волос.

Хозяйка сидит, слегка наклонившись вперёд и прижимая ладони к лицу.

Элен указывает кивком в дальний конец трейлера, где есть ещё несколько комнат.

Я встаю и иду.

Элен открывает тушь для ресниц и говорит:

— Можно мой муж сходит у вас в туалет? — Она говорит: — А теперь посмотрите вверх, голубушка.

На полу в ванной — кучи грязного белья и одежды, разобранной по цветам. Белая. Цветная. Чьи-то футболки и джинсы, испачканные машинным маслом. Полотенца, простыни и лифчики. Скатерть в красную клетку. Я спускаю воду в унитазе. Для звуковой маскировки.

Никаких пелёнок или детской одежды.

В гостиной хозяйка в цыплетках всё ещё смотрит вверх, в потолок, только теперь она как-то странно дышит — судорожно и часто. Грудь под фартуком трясётся. Элен вытирает бумажной салфеткой расплывшийся макияж. Салфетка мокрая и чёрная от потёкшей туши. И Элен говорит:

— Пройдёт время, Ронда, и вам станет легче. Сейчас вы в это не верите, но так будет. — Она берёт очередную салфетку. — Надо только поверить, что вы сумеете это вынести, что вы сильная. Думайте о себе как о сильной женщине.

Она говорит:

— Вы ещё молодая, Ронда. Вернитесь в школу, получите профессию, обратите боль в деньги.

Женщина с цыплятками, Ронда, по-прежнему плачет, глядя в потолок.

За ванной — две спальни. В одной — кровать с водяным матрасом. В другой — детская кроватка с игрушкой-мобилем в виде пластмассовых маргариток. Белый комод с выдвижными ящиками. Кроватка пустая. Прорезиненный матрасик свёрнут в рулон и лежит в изголовье. На стуле рядом с кроваткой — стопка книг. *«Стихи и потешки со всего света»* — на самом верху.

Я кладу её на комод, и она открывается на странице 27.

Пробегаю остриём английской булавки вдоль корешка — делаю маленькие проколы, чтобы было удобнее вырвать страницу. Вырываю, прячу в карман, кладу книгу на место.

В гостиной — вся косметика свалена в кучу на полу.

Элен вынула из косметички фальшивое дно. Под ним — браслеты и ожерелья, большие броши и серьги, скреплённые попарно. Россыпь зелёных, жёлтых, красных и синих камней в переливах света. Драгоценности. Элен держит в руках длинное ожерелье из красных и жёлтых камней, каждый — размером с её розовый ноготь, если не больше.

— У хороших бриллиантов должна быть такая огранка, — говорит Элен, — чтобы свет не проникал сквозь грани в нижней половине камня. — Она суёт ожерелье хозяйке в руки и говорит: — В рубинах... оксид алюминия... посторонние включения в камне, называется «рутиловые включения», придают камню мягкий розоватый оттенок, если только ювелир не обработает камень высокой температурой.

Хороший способ забыть о целом — пристально рассмотреть детали.

Две женщины сидят так близко друг к другу, что их колени соприкасаются. И головы тоже — почти. Женщина в цыплятках уже не плачет.

У неё на глазу — ювелирная лупа.

Мёртвые цветы отодвинуты в сторону, и весь столик завален искрящимися розовыми камнями и золотом, прохладным белым жемчугом и синей ляпис-лазурью. Мерцание жёлтого и оранжевого. Мягкое матовое серебро и ослепительно белые отсветы.

Элен держит в ладони зелёный камень размером с яйцо. Он такой яркий, что лица обеих женщин кажутся зеленоватыми в отражённом свете.

— Это искусственный изумруд. Видите, там внутри как бы крапинки? В настоящих камнях их нет.

Женщина внимательно смотрит сквозь лупу и кивает головой.

И Элен говорит:

— Я не хочу, чтобы вы обожглись, как я. — Она запускает руку в косметичку и достаёт что-то жёлтое и блестящее. — Эта сапфировая брошь принадлежала известной киноактрисе, Наташе Врен. — Она вынимает из косметички кулон в виде розового сердца в обрамлении маленьких бриллиантиков. — Этот берилловый кулон в семьсот каратов когда-то принадлежал румынской королеве Марии.

Я уже знаю, что она скажет, Элен. В этой куче дорогих украшений, говорит она, живут духи давно уже мёртвых людей, всех прежних владельцев. Всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе — всё, что олицетворяли собой эти камни, — где всё это теперь?

С одинаковой причёской и макияжем, эти две женщины, сидящие рядом, могли бы быть сёстрами. Или мамой и дочкой. *До и после*. Прошлое и будущее.

И это ещё не всё. Но обо всём остальном — когда мы вернёмся в машину.

Мона на заднем сиденье говорит:

— Ну что, нашли?

И я говорю: да. Но этой женщине это уже не поможет.

Всё, что она от нас получила: это роскошная причёска и, может быть, стригущий лишай.

Устрица говорит:

— Покажи нам, что это за песня. Ради чего мы катаемся по стране.

И я говорю: ни хрена. Я запикиваю вырванную страницу в рот и жую. Ужасно болит нога, и я снимаю ботинок. Я продолжаю жевать. Мона засыпает. Я продолжаю жевать. Устрица смотрит в окно на какие-то сорняки на пустыре.

Я глотаю прожёванную бумагу и засыпаю тоже.

Я просыпаюсь уже в дороге. На пути в следующий город, в следующую библиотеку, может быть, к следующему «Волшебному макияжу». Я просыпаюсь, и выясняется, что мы проехали уже триста миль.

На улице почти стемнело. Элен говорит, глядя прямо перед собой:

— Я слежу за расходами.

Мона садится и чешет голову, запустив обе руки в дреды. Потом прижимает пальцем внутренний уголок глаза и снимает натёкшую слезу. Вытирает палец о джинсы и говорит:

— Где будем ужинать?

Я говорю Моне, чтобы она пристегнулась.

Элен включает фары. Кладёт на руль руку, вытянув пальцы, и пристально смотрит на свои кольца. Она говорит:

— Когда мы найдём «Книгу теней», когда получим полную власть над миром, когда станем бессмертными, и у нас будет всё, и все нас будут любить, — говорит она, — вы всё равно останетесь мне должны двести долларов за косметику.

Она выглядит как-то не так. У неё что-то не то с волосами. Её серьги. Серьги с большими розовыми и красными камнями, сапфирами и рубинами. Их нет.

Глава двадцать первая

Конечно, это была не одна ночь. Просто по ощущениям все ночи слились в одну. Каждая ночь. Пересекая Неваду и Калифорнию, Техас, Аризону, Орегон, Вашингтон, Айдахо и Монтану. Они одинаковые, все ночи, когда ты в дороге. И поэтому кажется, будто ночь — одна.

В темноте все города и места — одинаковые.

— Мой сын Патрик, он не умер, — говорит Элен Гувер Бойль.

Он умер. Я видел запись о смерти в окружном архиве. Но я молчу.

Элен сидит за рулём. Мона и Устрица спят на заднем сиденье. Спят или слушают наш разговор. Я сижу рядом с Элен на пассажирском сиденье. Я прижимаюсь к дверце, чтобы быть как можно дальше от Элен. Я положил руку под голову и слушаю, не глядя на Элен.

А Элен говорит, не глядя на меня. Мы оба смотрим прямо перед собой, на дорогу, освещённую светом фар.

— Патрик в больнице «Новый континуум», — говорит она. — И я верю, что когда-нибудь он поправится.

На сиденье между нами лежит её ежедневник в красном кожаном переплёте.

Пересекая Северную Дакоту и Миннесоту. Я спрашиваю у Элен, как она узнала про баюльные чары.

Своим розовым ногтем она нажимает какую-то кнопку — включает систему автоматического регулирования скорости. Потом нажимает ещё одну кнопку и включает дальний свет вместо ближнего.

— Я работала продавцом-консультантом в «Skin Tone Cosmetics», — говорит она. — Мы тогда жили в кошмарном трейлере, — говорит она. — Мы с мужем.

Его звали Джон Бойль. Я видел запись о смерти в окружном архиве.

— Ты знаешь, как это бывает, когда рождается первый ребёнок, — говорит она. — Друзья и знакомые тоннами тащат подарки, игрушки и книжки. Я даже не знаю, кто именно подарил эту книжку. Просто ещё одна книжка в куче других.

Согласно записям в окружном архиве, это случилось лет двадцать назад.

— Тебе не надо рассказывать, что случилось, ты и сам всё понимаешь, — говорит она. — Но Джон всегда думал, что это я виновата.

Согласно записям в полицейском досье, в течение месяца после смерти

Патрика Раймонда Бойля, шести месяцев от роду, соседи шесть раз вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка — шумных домашних ссор в трейлере Бойлев (место 175 в парке жилых фургонов «Буена-Ноче»).

Пересекая Висконсин и Небраску.

Элен говорит:

— Я искала оптовых покупателей для «Skin Tone Cosmetics» и просто ходила по домам, рекламируя наши товары. — Она говорит: — Я не сразу вернулась на работу. Прошло, наверное, полтора года после того, как Патрик... как мы увидели Патрика в то утро.

Она ходила по домам, рассказывает мне Элен, и встретила молодую женщину. Такую же, как и та — в фартуке с цыплятами. Всё было так же. Те же цветы с похорон. Та же пустая детская кровать.

— Я зарабатывала очень неплохо, только на продаже тональных кремов и маскирующих карандашей, — говорит Элен, улыбаясь. — И особенно в конце месяца, когда деньги заканчивались.

Тогда, двадцать лет назад, той женщине было столько же лет, сколько и самой Элен. Они разговорились. Женщина показала Элен детскую. Показала фотографии ребёнка. Женщину звали Синтия Мур. У неё был фингал под глазом.

— И я обратила внимание, что у них была та же книжка, — говорит Элен. — *«Стихи и потешки со всего света»*.

Она так и осталась открытой на той же странице, какую они прочитали ребёнку последней. В тот вечер, когда он умер. Они всё оставили, как было. Бельё в кровати. Открытую книжку.

— И это, как ты уже понял, была та же страница, что и у нас, — говорит Элен.

Джон Бойль каждый вечер наливался пивом. Он говорил, что не хочет другого ребёнка, потому что он не доверяет Элен. Если она не знает, что она сделала не так, то не стоит рисковать.

Я касаюсь рукой нагретого кожаного сиденья, и ощущение такое, как будто ты прикасаешься к человеку, к его живой коже.

Пересекая Колорадо, Канзас и Миссури.

Она говорит:

— Та женщина, у которой тоже умер ребёнок... однажды она устроила дворовую распродажу. Все детские вещи. Они разложили их на лужайке и продавали за двадцать пять центов за штуку. Книжка тоже была, и я её купила, — говорит Элен. — Я спросила у парня, который сидел при вещах, почему Синтия всё распродаёт, но он только пожал плечами.

Согласно записям в окружном архиве, Синтия Мур выпила жидкость для прочистки водопроводных труб и умерла от внутреннего кровоизлияния в пищевод и удушья через три месяца после того, как её ребёнок умер безо всякой видимой причины.

— Джон боялся, что это было что-то заразное, и сжёг все вещи Патрика, — говорит она. — Я купила книжку за десять центов. Я помню, погода в тот день была замечательная.

Согласно записям в полицейском досье, соседи ещё три раза вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка — шумных домашних ссор в трейлере Бойлев (место 175 в парке жилых фургонных «Буена-Ноче»). А через неделю после самоубийства Синтии Мур умер Джон Бойль. Безо всякой очевидной причины. Согласно записям в протоколе вскрытия, концентрация алкоголя у него в крови могла послужить причиной остановки дыхания во сне. Также это могло быть позиционное удушье — он напился до бесчувствия и свалился на кровать в таком положении, что закрыл себе рот и нос. В любом случае никаких следов и отметин на теле не обнаружилось. В свидетельстве о смерти записано: причина не установлена.

Пересекая Иллинойс, Индиану и Огайо.

Элен говорит:

— Я не нарочно убила Джона. — Она говорит: — Мне просто хотелось проверить.

Точно так же, как мне — с Дунканом.

— Я проверяла свою догадку, — говорит она. — Джон всё твердил, что душа Патрика по-прежнему с нами. А я всё твердила, что Патрик жив, что он в больнице.

Она говорит: и теперь, двадцать лет спустя, шестимесячный Патрик по-прежнему там, в больнице.

Звучит как полнейший бред. Но я молчу. Не могу себе даже представить, как может выглядеть младенец после двадцатилетнего пребывания в коме, со всеми этими капельницами и трубками.

Мне представляется Устрица. С внутривенным кормлением и катетером на всю жизнь.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее.

На заднем сиденье: Мона садится и потягивается. Она говорит:

— В Древней Греции самые сильные проклятия записывали гвоздями от затонувших кораблей. — Она говорит: — Моряки, погибшие в море... их нельзя было похоронить, как положено. Древние греки знали, что мёртвые, которых не похоронили, как должно, становятся самыми

беспокойными и самыми вредными духами с неуёмной страстью к разрушению.

А Элен говорит:

— Заткнись.

Пересекая Западную Вирджинию, Пенсильванию, Нью-Йорк.

Элен говорит:

— Ненавижу людей, которые утверждают, что они видят духов. — Она говорит: — Никаких духов нет. Когда человек умирает, он умирает. После смерти нет никакой жизни. Смерть — это смерть. Люди, которые утверждают, что они видят духов, просто привлекают к себе внимание. Хотят показаться интереснее, чем они есть. Люди, которые верят в реинкарнацию, просто откладывают настоящую жизнь на потом.

Она улыбается.

— Но мне повезло, — говорит она. — Я нашла способ, как наказать этих людей и как заработать деньги.

У неё звонит мобильный.

Она говорит:

— Если ты мне не веришь насчёт Патрика, могу показать тебе счёт из больницы за этот месяц.

Её мобильный так и звонит.

Она рассказывает не всё сразу, а по частям. Пересекая Вермонт. Пересекая Луизиану, ночью. Потом — Арканзас и Миссисипи. Пересекая маленькие восточные штаты, иногда — по два-три за ночь.

Она принимает вызов и говорит в трубку:

— Элен слушает. — Она смотрит на меня, закатывает глаза и говорит в трубку: — Ребёнок, замурованный в стену спальни? Он плачет всю ночь? Правда?

Остальное из этой истории я узнаю, когда мы вернёмся домой и я покопаюсь в архивах.

Элен прижимает мобильный к груди и говорит мне:

— Всё, что я рассказала и ещё расскажу, это не для печати. — Она говорит: — Мы ничего не изменим, пока не найдём «Книгу теней». А потом, когда мы её найдём, я сделаю так, чтобы Патрик поправился.

Глава двадцать вторая

Мы едем по Среднему Западу, радио в машине настроено на какую-то АМ-станцию, и диктор по радио говорит, что доктор Сара Ловенштейн была светочем нравственности и надежды в пустыне всеобщей бездуховности. Доктор Сара была честным, бескомпромиссным и высоконравственным человеком и не принимала ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Она была бастионом честности и прямоты — прожектором, который высвечивал всё зло мира. Доктор Сара, говорит диктор, навсегда останется в наших сердцах и душах, потому что собственный её дух был нестигаемым и не...

Голос умолкает на полуслове.

И Мона бьёт по спинке моего сиденья, как раз в район почек, и говорит:

— Только не надо опять. — Она говорит: — Не надо решать свои внутренние проблемы за счёт невинных людей.

И я говорю, чтобы она прекратила сыпать обвинениями. Может быть, это всё из-за пятен на солнце.

Эти поговорить-голики. Эти послушать-фобы.

Баюльная песня звучит у меня в голове. Всё получилось так быстро, что я этого даже не замечаю. Я уже засыпал. Кажется, я ещё больше теряю контроль. Я могу убивать во сне.

Несколько миль тишины, «мёртвый эфир», как это называется у радиожурналистов, потом радио снова включается и уже другой диктор говорит, что доктор Сара Ловенштейн была высоким моральным критерием, по которому миллионы радиослушателей мерили свою жизнь. Она была пламенеющим мечом в деснице Господа, посланная сюда, чтобы изгнать нечестивцев из храма...

И этот диктор тоже умолкает на полуслове.

Мона бьёт по спинке моего сиденья и говорит:

— Это не смешно. Эти радиопроповедники — они же живые люди!

А я говорю: я ничего не делал.

А Элен с Устрицей смеются.

Мона сидит, скрестив руки на груди. Она говорит:

— Уважения у тебя никакого. *Вообще* никакого. Вот так вот просто бросаться силой, которой уже миллион лет.

Мона хватается Устрицу за плечи и толкает его со всей силы, так что он

бьётся боком о дверцу. Она говорит:

— И ты тоже. — Она говорит: — Диктор на радио, он такой же живой, как свинья или корова.

Теперь на радио играет лёгкая танцевальная музыка. У Элен звонит мобильный, она нажимает на кнопку приёма и прижимает трубку к уху. Она кивает на радио и произносит одними губами: *сделай потише*.

Она говорит в трубку:

— Да. — Она говорит: — Да, я знаю, кто это. Вы мне скажите, где он сейчас, и как можно точнее.

Я убавляю громкость.

Элен слушает и говорит:

— Нет. — Она говорит: — Мне нужен белый с голубым бриллиант. Семьдесят пять каратов, фигурная огранка. Позвоните мистеру Дрешеру в Женеву, он знает, что именно мне нужно.

Мона вытаскивает из-под сиденья свой рюкзак, достаёт упаковку цветных фломастеров и толстую тетрадь в обложке из тёмно-зелёной парчи. Она открывает тетрадь, кладёт её на колени и что-то пишет в ней синим фломастером. Потом убирает синий и открывает жёлтый.

И Элен говорит:

— Не важно, какая охрана. В течение часа всё будет сделано. — Она выключает телефон и бросает его на сиденье.

На сиденье между нами — её ежедневник. Она открывает его и пишет какое-то имя и сегодняшнее число.

Книга на коленях у Моны — её «Зеркальная книга». Она говорит, что у каждой уважающей себя ведьмы есть такая зеркальная книга. Что-то вроде дневника и поваренной книги, куда записывают заклинания, ритуалы и вообще всё, что связано с колдовством.

— Например, — говорит она и зачитывает из «Зеркальной книги»: — Демокрит утверждает, что можно вызвать грозу, если сжечь голову хамелеона в огне на дубовых дровах.

Она подаётся вперёд и говорит мне прямо в ухо:

— Знаешь, Демокрит. Корень как в *демократии*.

И я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

А чтобы заткнуть человека, говорит Мона, ну, чтобы он прекратил болтать, надо взять рыбу и зашить ей рот.

Чтобы вылечить боль в ухе, говорит Мона, нужно взять семя вепря, когда оно истекает из вагины самки.

В иудейской магической книге «*Сефер 'а разим*» есть такой ритуал: нужно убить чёрного, ещё слепого щенка — до того, как у него откроются

глаза. Потом написать на табличке проклятие и вложить табличку в голову щенку. Потом запечатать его пасть воском и спрятать голову под порогом дома того человека, которому предназначается проклятие, и он никогда не заснёт.

— Теофраст утверждает, — читает Мона, — что пионы надо рвать по ночам, потому что если, пока ты рвёшь пионы, тебя увидит дятел, ты ослепнешь. А если дятел увидит, как ты подрезаешь пионам корни, у тебя приключится выпадение ануса.

И Элен говорит:

— Жалко, что у меня нет рыбы...

По словам Моны, нельзя убивать людей, потому что убийство отдаляет тебя от человечества. Убийство оправдано только тогда, когда ты убиваешь врага. Поэтому надо сделать так, чтобы жертва стала твоим врагом. Любое преступление оправданно, если ты делаешь жертву своим врагом.

Со временем все люди в мире станут твоими врагами.

С каждым новым убийством, говорит Мона, ты всё больше и больше отчуждаешься от мира. Ты убеждаешь себя, что весь мир — против тебя.

— Когда доктор Сара Ловенштейн только начинала своё радиошоу, она не набрасывалась на каждого, кто звонил, с руганью и обличениями, — говорит Мона. — У неё было меньше эфирного времени, и аудитория у неё была меньше, и ей действительно, как мне кажется, хотелось помочь людям.

И может быть, это всё из-за того, что на протяжении многих лет ей звонили по поводу тех же самых проблем — нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это всё из-за того, что её аудитория выросла и передачу перенесли на прайм-тайм. Может быть, это всё из-за того, что она стала зарабатывать больше денег. Может быть, власть развращает, но она не всегда была такой сукой.

Единственный выход, говорит Мона, это признать своё поражение и позволить миру убить меня и Элен за наши преступные деяния. Или мы можем покончить самоубийством.

Я спрашиваю: это что, очередная викканская чепуха?

И Мона говорит:

— Нет. На самом деле это Карл Маркс.

Она говорит:

— Когда ты убил человека, есть единственный способ вернуть себе связь с человечеством. — Она говорит, справляясь по книге: — Есть единственный способ вернуться в ту точку, где мир не будет тебе возмездием. Где ты не один.

— Дайте мне рыбу, — говорит Элен. — И иголку с ниткой.

Но я не один.

У меня есть Элен.

Может быть, именно поэтому столько серийных убийц работают в паре. Потому что это приятно — знать, что ты не один в мире, где только враги и жертвы. Неудивительно, что Вальтруда Вагнер, австрийская Ангел Смерти, убедила своих подруг убивать вместе с ней.

Это кажется очень естественным.

Мы с тобой против целого мира...

У Гари Левингдона был его брат, Таддеуш. У Кеннета Бьянчи был Анджело Буоно. У Ларри Биттейкера — Рой Норрис. У Дуга Кларка — Кэрол Банди. У Дэвида Гора — Фред Уотерфилд. У Гвен Грэхем — Кати Вуд. У Дуга Грецлера — Вилл Стилмен. У Джо Каллингера — его сын Майк. У Пата Керни — Дэйв Хилл. У Энди Кокоралейса — брат Том. У Лео Лейка — Чарльз Нджи. У Генри Лукаса — Оттис Тул. У Альберта Ансельми — Джон Скализе. У Алена Майкла — Климон Джонсон. У Дуга Бемора — Кейт Косби. У Иэна Брейди — Майра Хиндли. У Тома Брана — Лео Мейн. У Бена Брукса — Фред Триш. У Джона Брауна — Сэм Кетзи. У Билла Барка — Билл Хеер. У Эрксина Барроуза — Ларри Таклин. У Джо Бакса — Марионо Маку. У Брюса Чайлдза — Генри Маккенни. У Элтона Колмена — Дебби Браун. У Энн Френч — её сын Билл. У Френка Газенберга — его брат Питер. У Дельфины Гонзалес — её сестра Мария. У доктора Тита Херма — доктор Том Олген. У Амелии Саш — Энни Уолтерс.

Тринадцать процентов всех известных серийных убийц работали в паре или в группе.

В камере смертников в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин Рэнди Крафт, «Убийца по талонам», играл в бридж с Дугом Кларком, «Закатным убийцей», Ларри Биттейкером по прозвищу «Клещи» и «Убийцей с большой дороги» Биллом Бонином. В общем на эту четвёрку приходилось сто двадцать шесть жертв.

У Элен Гувер Бойль есть я.

«Когда начнёшь убивать, уже невозможно остановиться, — сказал Бонин одному журналисту. — Убивать с каждым разом всё проще и проще...»

Вынужден согласиться. Это превращается в дурную привычку.

По радио говорят, что доктор Сара Ловенштейн была ангелом добра, не имеющим себе равных по силе и влиянию, десницей Божьей, честью и совестью этого мира, погрязшего в непотребствах, мира греха и

жестокости, мира скрытых...

Не важно, сколько людей умирает, всё равно всё остаётся по-прежнему.

— Ну давай, докажи, что ты крут, — говорит Устрица, кивая на радио. — Убей и этого мудака тоже.

Я считаю — 37, считаю — 38, считаю — 39...

С тех пор как мы выехали из дома, мы уничтожили семь экземпляров смертоносного стихотворения. Изначальный тираж был 500 экземпляров. Стало быть, 306 экземпляров уже охвачено, остаётся — 194.

В газетах было написано, что парень в чёрной кожаной куртке — который просвистел мимо меня на переходе — был донором и сдавал кровь каждый месяц. Он три года провёл за границей, в слаборазвитых странах, в составе Корпуса мира — рыл колодцы для прокажённых. В Бостване он отдал часть своей печени девочке, которая отравилась ядовитыми грибами. Он работал оператором на телефоне, когда проводили благотворительную кампанию против какой-то неизлечимой болезни, я, правда, забыл какой.

И всё-таки он заслуживал смерти. *Он обозвал меня придурком.*

Он меня толкнул!

В газетах была фотография: мать и отец плачут над гробом моего соседа сверху.

И всё-таки *он слишком громко врубал свою музыку.*

В газетах написано, что фотомодель и манекенщица по имени Денни Д'Тестро была найдена мёртвой у себя в квартире сегодня утром.

Не знаю уж почему, но я очень надеюсь, что на вызов поехал не Нэш.

Устрица кивает на радио и говорит:

— Ну давай же, папаша, убей его. Докажи, что ты крут.

На самом деле весь мир состоит из придурков.

Элен берёт свой мобильный и обзванивает библиотеки в Оклахоме и Флориде. В Орландо находится ещё один экземпляр.

Мона читает нам, что древние греки делали таблички-проклятия — *дефиксионы*.

И ещё они делали *колоссов*, кукол из бронзы, воска или глины, и тыкали в них гвоздями, или ломали их, или калечили, отрезали им руки и головы. Внутри колосса вкладывали либо волосы намеченной жертвы, либо проклятие, написанное на папирусе.

В Лувре хранится египетская фигурка второго века нашей эры. Это изображение обнажённой женщины, связанной по рукам и ногам, с гвоздями, воткнутыми в глаза, уши, рот, груди, руки, стопы, вагину и анус. Чёрная в книге оранжевым фломастером, Мона говорит:

— Вы с Элен наверняка бы понравились тому человеку, который

сделал эту фигурку.

Таблички-проклятия представляли собой тонкие свинцовые или медные — иногда глиняные — пластинки. На них писали проклятия, выцарапывали гвоздями от затонувших кораблей, потом сворачивали их в трубочку и протыкали гвоздём. Первую строчку писали слева направо, вторую — справа налево, третью — слева направо, и так далее. Если была возможность, то внутрь заворачивали волосы жертвы или лоскут от её одежды. Потом табличку бросали в озеро, или в море, или в колодец — чтобы она попала в подземный мир, где её прочтут демоны и исполнят приказ.

Элен на секунду отрывается от телефона, прижимает его к груди и говорит:

— Похоже на заказ товаров через Интернет.

И я считаю — 346, считаю — 347, считаю — 348...

В греко-романской литературной традиции, говорит Мона, есть ведьмы и колдуны ночные и ведьмы и колдуны дневные. Чёрные и белые. Белые ведьмы и колдуны — добрые, и их знание открыто для всех. Чёрные ведьмы и колдуны — злые, они хранят свои знания в тайне и собираются уничтожить весь мир.

Мона говорит:

— Вы двое — определённо ночные.

Эти люди, которые дали нам демократию и архитектуру, говорит Мона, магия — была частью их повседневной жизни. Дельцы и торговцы проклинали друг друга. Сосед насылал проклятие на соседа. Рядом со стадионом, где проходили первые Олимпийские игры, археологи раскопали колодец, полный табличек-проклятий, — атлеты проклинали атлетов.

Мона говорит:

— Я не выдумываю. Всё правда.

Приворотные чары в Древней Греции назывались *агогаи*.

Проклятие на разлучение влюблённых — *диакопой*.

Элен снова подносит телефон к уху и говорит в трубку:

— По стенам кухни течёт кровь? Да, разумеется, вы не должны жить в такой обстановке.

Устрица включает свой телефон и говорит в трубку:

— Я хочу дать платное объявление в «Майами Телеграф-Обсервер».

На радио включается хор французских рожков. Хорошо поставленный дикторский голос читает новости. На заднем плане слышен стук телетайпа.

— Человек, который, по подозрениям полиции, был главой самого крупного в Южной Америке наркотического картеля, был найден мёртвым

в своей квартире в Майами, — говорит диктор. — Предположительно, тридцатидевятилетний Густав Бреннан держал под контролем продажу кокаина с оборотом в три миллиарда долларов в год. Причина смерти пока не ясна, полиция думает провести вскрытие...

Элен смотрит на радио и говорит:

— Вы слушаете? Что за бред! — Она говорит: — Слушайте, — и прибавляет звук.

— ...Бреннан, — говорит диктор, — который не выходил из дому без целой армии вооружённых телохранителей, находился под непрерывным наблюдением ФБР...

Элен говорит мне:

— Они что, до сих пор пользуются телетайпом?

Тот её разговор по телефону... белый с голубым бриллиант... имя, которое она записала в своём ежедневнике. Густав Бреннан.

Глава двадцать третья

В прежние времена моряки в долгом плавании оставляли на каждом пустынном острове по паре свиней. Или по паре коз. А когда приходили к этому острову в следующий раз, там уже был запас «живого» мяса. Это были необитаемые острова, царства девственной, дикой природы. Там обитали птицы, которых не было больше нигде на Земле. Там не было хищных зверей. Там не было ядовитых растений или растений с колючками и шипами. Это был истинный рай на Земле.

Когда моряки приходили к такому острову в следующий раз, там их ждали стада свиней или коз.

Устрица рассказывает нам об этом.

Моряки называли такие стада «посеянным мясом».

Устрица говорит:

— Вам это ничего не напоминает? Например, старинную историю про Адама и Еву?

Он говорит, глядя в окно:

— Может быть, Бог однажды вернётся на Землю с большой бутылкой острого соуса для барбекю?

Мы проезжаем мимо какого-то серого озера, большого — до горизонта. Там водятся только речные мидии и миноги, говорит Устрица. В воздухе пахнет протухшей рыбой.

Мона прижимает к лицу подушечку, набитую ячменём и лавандой. Тыльные стороны её ладоней разрисованы замысловатым узором — ржаво-коричневой хной. Узор тянется и по пальцам тоже, до самых ногтей. Красные змеи и лозы, переплетающиеся друг с другом.

У Устрицы звонит мобильный, и он выдвигает антенну. Подносит трубку к уху и говорит:

— «Мымра, Маркер и Муфлон», юридические услуги.

Он ковыряет пальцем в носу, потом вынимает палец и внимательно его изучает. Он говорит в трубку:

— И как скоро случился понос после того, как вы там поели?

Он замечает, что я на него смотрю, и тыкает в меня пальцем.

Элен говорит в свой мобильный:

— Люди, которые жили там раньше, были очень довольны. Это хороший, красивый дом.

В местной газете «Erie Register-Sentinel» в разделе «Досуг» напечатано

объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ГОЛЬФ-КЛУБА «ДОМИК

В ДЕРЕВНЕ»

В объявлении сказано: «Искупавшись в бассейне, вы заразились стафилококком, не поддающимся никакому лечению? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

В общем, вы уже знаете номер мобильного телефона Устрицы.

В 1870-х годах, говорит Устрица, один человек по имени Спенсер Бэйрд решил поиграть в Господа Бога, накормившего страждущих. Он рассудил, что самым дешёвым источником протеина для американцев будет карп обыкновенный. В течение двадцати лет он наводнил всю страну маленькими карпятами. Он договорился с хозяевами железнодорожных компаний, чтобы машинисты возили с собой судочки с его маленькими карпятами и выпускали их в каждый водоём, который попадётся у поезда на пути. Он даже не пожалел денег на специальные железнодорожные цистерны для перевозки мальков.

У Элен звонит мобильный, и она отвечает на звонок. Её ежедневник раскрыт на сиденье. Она говорит в трубку:

— И где конкретно сейчас находится его королевское высочество? — и пишет имя под сегодняшней датой в своём ежедневнике. Она говорит в трубку: — Скажите мистеру Дрешеру, что мне нужны клипсы с изумрудом. Он знает какие.

В другой газете, «Cleveland Herald-Monitor», в разделе «Стиль жизни» напечатано объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СЕТИ МАГАЗИНОВ

«СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ВАС»

В объявлении сказано: «Если вы заразились генитальным герпесом, примеряя одежду в указанном магазине, звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать

коллективный иск в суд».

Телефон всё тот же. Мобильный Устрицы.

В 1890 году, говорит Устрица, ещё один человек решил поиграть в Господа Бога. Юджин Скиффелин выпустил шестьдесят *sturnus vulgaris*, скворцов обыкновенных, в нью-йоркском Центральном парке. Пятьдесят лет спустя эти скворцы распространились до Сан-Франциско. Сейчас в Америке более двухсот миллионов скворцов. А всё потому, что Скиффелину хотелось, чтобы в Новом Свете жили все виды птиц, упомянутых в произведениях Шекспира.

Устрица говорит в свой мобильный:

— Нет, сэр, ваше имя — это строго конфиденциальная информация, его никто не узнает.

Элен заканчивает разговор по мобильному и закрывает ладонью нос и рот.

— Чем это так пахнет противно?

Устрица прижимает к груди свой мобильный и говорит:

— Дохлой селёдкой.

Когда в 1921 году перестроили канал Велланд между озёрами Эйр и Онтарио, говорит Устрица, Великие Озёра наводнились морскими миногами. Эти паразиты пьют кровь больших рыб типа форели или лосося и убивают их. Когда крупные хищники вымерли, резко выросла популяция мелкий рыб. Со временем они съели весь планктон, после чего вымерли сами. От голода.

— Глупые жадные селёдки, — говорит Устрица. — И не только селёдки.

Он говорит:

— Либо животные каждого вида учатся контролировать рост своей популяции, либо они вымирают от посторонних причин: голода, или болезней, или войны.

Мона говорит сквозь подушку:

— Не говори им ничего. Они всё равно не поймут.

Элен открывает одной рукой сумочку, что лежит на сиденье рядом с ней, и достаёт маленький аэрозольный баллончик — освежитель дыхания. Кондиционер в машине работает на полную мощность. Элен брызгает освежителем на носовой платок и прижимает платок к носу. Потом она брызгает освежителем на решётку кондиционера и говорит:

— Это насчёт баюльной песни?

Я говорю, не оборачиваясь назад:

— Ты хочешь использовать эту песню для контроля рождаемости?

А Устрица смеётся и говорит:

— Что-то типа того.

Мона убирает подушку и говорит:

— Это насчёт гримуара.

Устрица говорит, набирая номер на своём мобильном:

— Если мы его найдём, он будет наш общий.

А я говорю: если мы его найдём, мы его уничтожим.

— Но сначала прочтём.

Устрица говорит в свой мобильный:

— Да, я подожду. — Он говорит нам: — Весьма символично. Вся структура власти западного общества в одной отдельно взятой машине.

Согласно Устрице, «Отцы», у которых вся власть, не хотят никаких перемен.

Он имеет в виду меня.

Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

Устрица говорит, что у «Матерей» власти значительно меньше, но им хочется большего.

Он имеет в виду Элен.

Я считаю — четыре, я считаю — пять, я считаю — шесть...

А у молодых, говорит Устрица, нет вообще никакой власти — нет, но отчаянно хочется.

Устрица с Моной.

Я считаю — семь, я считаю — восемь... а Устрица всё говорит и говорит.

Эти помолчать-фобы. Эти поговорить-голики.

Устрица говорит, улыбаясь уголком рта:

— Каждое поколение хочет быть последним. — Он говорит в свой мобильный: — Да, я хочу поместить у вас платное объявление. — Он говорит: — Да, я подожду.

Мона опять прижимает к лицу подушку. Её пальцы оплетены узором из ржаво-красных змей и лозы.

Костёр кровельный, говорит Устрица. Горчица. Пуэрария.

Карпы. Скворцы. Посеянное мясо.

Устрица говорит, глядя в окно:

— Вы никогда не задумывались, что, может быть, Адам и Ева — это просто два глупых щенка, которых Бог выбросил за порог, потому что они не просились пописать на улицу?

Он открывает окно, и в машину врывается запах — тёплая вонь дохлой рыбы. Устрица повышает голос, чтобы перекрыть шум ветра:

— Может быть, люди — это просто домашние крокодильчики, которых Бог спустил в унитаз?

Глава двадцать четвёртая

Очередная библиотека. Я жду в машине, а Элен с Моной идут искать книгу. Я сам вызываюсь ждать. Когда они уходят, я быстро пролистываю ежедневник Элен. Почти под каждой датой записаны имена, и некоторые из них я знаю. Диктатор из какой-нибудь банановой республики или известный мафиози. Все имена зачёркнуты тонкой красной линией. Последние десять — двенадцать имён я переписываю на листок бумаги. Между именами — записи-напоминания о встречах. Почерк у Элен красивый и совершенный, как хорошее ювелирное изделие.

Устрица наблюдает за мной с заднего сиденья. Он сидит, закинув руки за голову. Босые ноги он положил на спинку переднего сиденья, так что они болтаются в непосредственной близости от моего лица. На одной ноге, на большом пальце — серебряное кольцо. На пятках — мозоли. Серые, грязные, растрескавшиеся мозоли. Он говорит:

— Мамочке не понравится, что ты роешься в её личных вещах.

Я читаю ежедневник наоборот — от конца к началу. Три года имён и назначенных встреч. Там есть и ещё, но я вижу, что Элен с Моной уже возвращаются к машине.

У Устрицы звонит мобильный, и он говорит в трубку:

— «Дурень, Демо и Дурында», юридические услуги.

Я не успел прочесть и половины, и трети. Годы и годы страниц. Ближе к концу ежедневника — годы и годы чистых страниц, которые Элен ещё предстоит заполнить.

У Элен в руках мобильный. Садясь в машину, она говорит в трубку:

— Нет, мне нужен аквамарин ступенчатой огранки, который принадлежал Императору Зогу.

Мона садится назад и говорит:

— Вы по нам не соскучились? — Она говорит: — Ещё одна баюльная песня спущена в унитаз.

Устрица убирает ноги со спинки переднего сиденья и говорит в трубку:

— А сыпь кровотоцит?

Элен щёлкает пальцами, чтобы я передал ей ежедневник. Она говорит в трубку:

— Да, аквамарин, двести каратов. Позвоните Дрешеру в Женеву. — Она открывает ежедневник и пишет имя под сегодняшней датой.

Мона говорит:

— Я вот думаю. — Она говорит: — Как вы считаете, в том гримуаре есть заклинание, чтобы летать? Мне бы очень хотелось летать. Или заклинание, чтобы стать невидимым? — Она достаёт из рюкзака свою зеркальную книгу и что-то в ней пишет цветными фломастерами. Она говорит: — И ещё я хочу разговаривать с животными. Да, и научиться телекинезу... ну, вы знаете... когда передвигаешь предметы одной силой мысли...

Элен заводит двигатель и говорит, глядя в зеркало заднего вида:

— Я зашиваю рот рыбе.

Она убирает мобильный и ручку в сумочку. У неё в сумочке так и лежит серый камушек с ведьминской вечеринки у Моны — камень, который она получила от ковена. Когда Устрица ходил голый с мягким розовым сталактитом из сморщенной кожи и крайней плотью, проколотой серебряным колечком.

Мона в тот же вечер. Шелковица. Её мускулистая спина, ладная крепкая попка... Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

Ещё один маленький городок, ещё одна библиотека. Теперь уже Элен с Моной ждут в машине, а мы с Устрицей идём на добычу книжки стихов.

Библиотека в маленьком провинциальном городе, середина дня. Библиотекарь за стойкой. Большой стол, где лежат последние номера газет, переплетённые в огромные картонные папки. Первые полосы сегодняшних газет посвящены Густаву Бреннану. Вчерашних — какому-то сумасшедшему религиозному лидеру с Ближнего Востока. В позавчерашних — какому-то заключённому, приговорённому к смертной казни и подавшему апелляцию.

Все имена — в ежедневнике Элен. Даты смерти совпадают с датами в ежедневнике.

Но в газетах есть сообщения и кое о чём похуже. Денни Д'Тестро — сегодня. Саманта Эвиан — три дня назад. Дот Лейн — неделю назад. Все — молодые, все — известные манекенщицы и фотомодели. Все найдены мёртвыми, причина смерти не установлена. А ещё раньше была Мими Гонсалес. Её друг нашёл её мёртвой в постели, и — никаких следов. Ничего. Никаких зацепок. Правда, в опубликованных сегодня результатах вскрытия сказано, что на теле обнаружены признаки сексуального контакта, произведённого уже после смерти.

Нэш.

Элен заходит в библиотеку и говорит с порога:

— Чего вы так долго? Я есть хочу.

На столе передо мной — мой список имён. Рядом — статья с фотографией Густава Бреннана. И ещё одна статья с фотографией с похорон какого-то психопата-детоубийцы, приговорённого к смертной казни, имя которого я нашёл в ежедневнике Элен.

Элен видит всё это и говорит:

— То есть теперь ты знаешь.

Она садится за стол, юбка туго натягивается на бёдрах. Она говорит:

— Ты хотел знать, как контролировать эту силу, так вот... я справляюсь таким вот образом.

Секрет в том, чтобы сделаться профессионалом, говорит она. Если делаешь что-то за деньги, вряд ли ты будешь делать то же самое за бесплатно.

— Думаешь, проституткам нравится заниматься сексом в нерабочее время? — говорит она.

Она говорит:

— Почему, ты думаешь, архитекторы и дизайнеры всегда живут в недостроенных или неотделанных домах?

Она говорит:

— Почему у всех врачей такое поганое здоровье?

Она указывает рукой на входную дверь и на стоянку за дверью. Она говорит:

— Единственная причина, почему я ещё не убила Мону, это потому, что я каждый день убиваю кого-то ещё. И мне за это хорошо платят.

Я спрашиваю: а как насчёт Мониной мысли? Почему нельзя контролировать силу любовью — когда ты любишь людей так сильно, что тебе просто не хочется никого убивать?

— Дело не в любви и ненависти, — говорит Элен. — Дело во власти. Ведь люди читают стишок вовсе не для того, чтобы убить своего ребёнка. Им просто хочется, чтобы ребёнок заснул. Им хочется взять над ним верх, хочется доминировать. Не важно, как сильно ты любишь кого-то, ты всё равно хочешь сделать по-своему.

Мазохист провоцирует садиста. Даже самый пассивный человек — на самом деле агрессор. Мы все убийцы. Чтобы жить, мы убиваем растения и животных — а иногда и людей.

— Скотобойни, животноводческие хозяйства, парники и теплицы, — говорит она, — нравится тебе это или нет, но всё это есть. И ты этим пользуешься.

Я говорю, что она наслушалась Устрицу.

— Секрет в том, чтобы намеренно убивать людей. — Элен берёт в

руки газету с фотографией Густава Бреннана. Смотрит на снимок и говорит: — Ты намеренно убиваешь чужих людей, чтобы случайно не убить кого-то из близких, из тех, кого любишь.

Конструктивная деструкция.

Она говорит:

— Я независимый специалист на договоре.

Международный киллер, который работает за драгоценные камни.

Элен говорит:

— Любое правительство занимается тем же самым.

Но правительство убивает людей, руководствуясь уважительными причинами, возражаю я. Например, если нужно казнить преступника, представляющего опасность для общества. Или для примера. Или чтобы отомстить. Да, я согласен, институт смертной казни несовершенен. Но это всё-таки не каприз.

Элен на мгновение прикрывает глаза рукой, потом убирает руку, смотрит на меня и говорит:

— А как ты думаешь, кто мне звонит насчёт этих маленьких поручений?

Ей звонят из Государственного департамента США?

— Иногда, — говорит она. — В основном звонят из других стран, со всего мира. Но я ничего не делаю за бесплатно.

Но почему драгоценности?

— Я ненавижу торговаться по поводу курса обмена валют, — говорит она. — К тому же, чтобы ты пообедал, поужинал и так далее, умирают животные.

Снова Устрица. Я уже понимаю, в чём моя задача: держать этих двоих подальше друг от друга.

Я говорю, что это другое. Люди выше животных. Животные существуют для того, чтобы кормить людей и служить людям. Люди — разумные и уникальные существа, и Бог дал нам животных, чтобы они кормили нас, и так далее. Животные — наша собственность.

— Конечно, — говорит Элен, — я так и думала, что ты это скажешь. Ты — на стороне победителей.

Я говорю, что конструктивная деструкция — это не тот ответ, которого я искал.

И Элен говорит:

— Прошу прощения, но это — единственный ответ, который я знаю.

Она говорит:

— Давай найдём книгу, разберёмся с ней, а потом пойдём и убьём себе

на обед какого-нибудь фазана.

Я подхожу к библиотекарю и спрашиваю про книжку детских стихов. Но она на руках. Подробности о библиотекаре: его волосы слишком густо намазаны гелем и лежат на голове словно твёрдый нарост или шлем. Волосы светлые, пепельные, с белыми прядями, похожими на наледь. Он сидит за компьютером, и от него пахнет сигаретным дымом. На нём свитер с высоким воротом, на свитере — бэджик с именем. «Саймон».

Я говорю, что мне нужно найти эту книгу. Это вопрос жизни и смерти.

А он говорит: какая неприятность.

Я говорю: нет, ты не понял. Это вопрос *твоей* жизни и смерти.

Библиотекарь нажимает на какую-то кнопку на клавиатуре и говорит, что он вызывает полицию.

— Подожди, — говорит Элен и кладёт руку на стойку. Её пальцы сверкают изумрудами ступенчатой огранки, сапфирами, огранёнными звездой, и чёрными бриллиантами стандартной бриллиантовой огранки. Она говорит: — Саймон, выбирай, что тебе нравится.

Библиотекарь подтягивает верхнюю губу к носу, так что видны его верхние зубы. Он моргает — один раз, второй — и говорит:

— Дорогая, свои фальшивки можешь оставить себе.

Улыбка Элен даже не дрогнула.

Библиотекарь закатывает глаза и как-то весь обмякает. Голова падает на грудь, он утыкается лбом в клавиатуру и медленно сползает со стула на пол.

Конструктивная деструкция.

Элен протягивает свою бесценную руку, чтобы развернуть монитор к себе, и говорит:

— Чёрт.

Даже мёртвый на полу, он выглядит спящим. Причёска, щедро политая гелем, даже не растрепалась.

Элен смотрит на монитор и говорит:

— Он поменял окна. Мне нужен его пароль.

Нет проблем. Большой Брат засоряет мозги всем одинаково. Моя догадка: он считал себя очень умным — точно так же, как и другие считают себя очень умными. Я говорю, чтобы она напечатала слово «пароль».

Глава двадцать пятая

Мона снимает носок у меня с ноги. Просто снимать больно, так что она его скатывает. Изнанка носка сдирает струпья. Хлопья свернувшейся крови летят на пол. Нога распухла, и все складки кожи растянуты. Нога напоминает воздушный шар в красных и жёлтых пятнах. Мона подкладывает мне под ногу полотенце и льёт на неё медицинский спирт.

Боль кошмарная, но проходит быстро — поэтому непонятно, обжигает спирт или, наоборот, холодит. Я сижу на кровати в номере в мотеле, штанина закатана до колена. Мона стоит передо мной на коленях. Я хватаюсь руками за простыню и сжимаю зубы. Спина болит, всё тело напряжено. Простыни на кровати холодные и пропитаны моим потом.

Надувшиеся волдыри, жёлтые и мягкие на ощупь, — по всей стопе. Под слоем отмершей кожи в каждом волдыре виднеются какие-то тёмные твёрдые штуковины.

Мона говорит:

— Ты по чему ходил?

Она прокаливает пинцет над пластиковой зажигалкой Устрицы.

Я спрашиваю у неё, что это за объявления, которые Устрица даёт в газеты. Он что, работает на какую-то юридическую фирму? Кожный грибок и пищевые отравления — это всё по-серьёзному?

Спирт стекает у меня с ноги, розовый от растворённой в нём крови, на гостиничное полотенце. Мона кладёт пинцет на мокрое полотенце и прокаливает над зажигалкой иголку. Она убирает волосы в хвост и скрепляет его резинкой.

— Устрица называет это «антирекламой», — говорит она. — Иногда фирмы, которые он упоминает в своих объявлениях — богатые и солидные фирмы, — платят ему, чтобы он снял объявление. Он говорит, что суммы, которые они ему платят, говорят о том, что объявления не далеки от истины.

Нога распухла, теперь она не войдёт в ботинок. Сегодня утром, в машине, я попросил Мону посмотреть, что у меня с ногой. Элен с Устрицей поехали покупать новую косметику. По дороге они собираются заглянуть в большой букинистический магазин — «Книжный амбар» — и упразднить три экземпляра книги.

Я говорю, то, что делает Устрица, называется шантаж и клевета. Уголовно наказуемое преступление.

Уже почти полночь. Я понятия не имею, где Элен с Устрицей. Не знаю и знать не хочу.

— Он не говорит, что он адвокат, — говорит Мона. — Он не говорит, что занимается коллективными исками. Он просто даёт объявление. А бланки заполняют другие. Устрица говорит, что он просто сеет зёрна сомнения в их умах.

Она говорит:

— Устрица говорит, что это только справедливо — ведь любая реклама обещает сделать тебя счастливым.

Сейчас, когда Мона стоит передо мной на коленях, мне хорошо видна её татуировка — три чёрные звёздочки над ключицей. За плотной завесой из цепочек с кулонами и амулетами всё равно видно, что лифчика на ней нет, и я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

Мона говорит:

— Другие члены ковена тоже этим занимаются, но придумал всё Устрица. Он говорит, что смысл в том, чтобы разбить иллюзию безопасности и комфорта.

Она протыкает иглой жёлтый волдырь, и что-то падает на полотенце. Маленький коричневый кусочек пластмассы, покрытый вонючим гноем и кровью. Мона переворачивает его иглой, и жёлтый гной стекает на полотенце. Она подцепляет кусочек пинцетом и говорит:

— А это ещё что за хрень?

Это шпиль колокольни.

Я говорю, что не знаю.

Рот у Моны слегка приоткрыт, язык высунут. Она тяжело сглатывает, словно поперхнувшись. Машет рукой перед носом и быстро моргает. Жёлтая слизь воняет кошмарно. Мона вытирает иглу о полотенце. Одной рукой держит меня за большой палец ноги, а второй протыкает очередной волдырь. Жёлтый гной течёт на полотенце. Туда же падает половинка фабричной трубы.

Мона подцепляет её пинцетом и вытирает о полотенце. Подносит поближе к глазам, морщится и говорит:

— Не хочешь мне рассказать, что происходит?

Она протыкает очередной волдырь, и наружу — в гное и крови — вываливается купол-луковица от мечети. Пинцетом Мона вынимает у меня из ноги крошечную обеденную тарелку. Тарелка расписана по ободку красными розами.

Снаружи доносится пожарная сирена.

Очередной волдырь — и на полотенце падает фронтон здания банка

эпохи какого-то из Георгов.

Из следующего волдыря извлекается часть университетской крыши.

Я весь в поту. Глубоко дышу. Сжимаю влажные простыни и скриплю зубами. Я смотрю в потолок и говорю, что модели трагически погибают. Кто-то их убивает.

Доставая кусок пластмассовой арматуры, Мона говорит:

— Топчет их ногами?

Я уточняю: *фотомодели*. Манекенщицы.

Иголка вонзается мне в стопу. Выуживает телевизионную антенну. Пинцет подцепляет горгулью. Потом — крошечную черепицу, ставни, шиферную плиту, кусок водосточной трубы.

Мона приподнимает за край вонючее полотенце и складывает его вдвое, чистой стороной вверх. Льёт мне на ногу ещё спирту.

Снаружи ревёт ещё одна пожарная сирена. По шторам проходит отсвет от красной и синей мигалки.

А я не могу вздохнуть — так болит нога.

Нам нужно, говорю я. Мне нужно... нам нужно...

Нам нужно вернуться домой, говорю на одном дыхании. Если всё так, как я думаю, то мне надо остановить человека, который использует баюльную песню.

Мона вынимает пинцетом синий пластмассовый ставень и кладёт его на полотенце. Потом — кусок занавески из спальни и жёлтую занавеску из детской. Потом — фрагмент частокола. Она опять поливает мне ногу спиртом, и на этот раз он стекает на полотенце чистым, без крови и гноя. Мона зажимает пальцами нос.

Снаружи снова — sireны пожарных, и Мона говорит:

— Ты не против, если я включу телевизор? Интересно же, что происходит.

Я смотрю в потолок, стиснув зубы, и говорю: нельзя... нельзя...

Сейчас, когда мы одни, я говорю Моне, что нельзя доверять Элен. Она хочет добыть гримуар, чтобы получить власть над миром. Я говорю, что единственный способ излечить человека, наделённого властью, — это не дать ему ещё больше власти. Нельзя допустить, чтобы Элен заполучила оригинальную Книгу Теней.

Очень медленно — так медленно, что я почти не улавливаю движения — Мона извлекает рифлёную ионическую колонну из окровавленной дырки у меня под большим пальцем. Медленно, как часовая стрелка на циферблате. Я не помню, откуда эта колонна: из музея, из церкви или из здания колледжа. Все эти сломанные дома и раскуроченные учреждения...

Она скорее археолог, нежели хирург.

Мона говорит:

— Забавно.

Она кладёт колонну на полотенце, рядом с другими деталями. Опять наклоняется над моей ногой, хмурится и говорит:

— Элен то же самое про тебя говорит. Что тебе нельзя доверять. Она говорит, что ты хочешь его уничтожить, гримуар.

Его необходимо уничтожить. Никто не сможет управиться с *такой* силой.

По телевизору передают репортаж с пожара. Трёхэтажное кирпичное здание — всё в огне. Пожарные тянут шланги, из шлангов хлещет вода — пенистая и белая. В кадре появляется молодой человек с микрофоном, а у него за спиной — Элен с Устрицей наблюдают за пожаром, стоя щека к щеке. В руке у Устрицы — пластиковый пакет с покупками. Элен держит его за другую руку.

Мона приподнимает бутылку со спиртом и смотрит на свет, сколько ещё осталось. Она говорит:

— Кем мне по-настоящему хочется стать, так это эмпатом, чтобы лечить людей, просто к ним прикасаясь. — Она читает надпись на этикетке и говорит: — Элен говорит, что мы можем превратить землю в рай.

Я полулежу на кровати, опираясь на локти, и говорю, что Элен убивает людей за бриллиантовые диадемы. Вот такой из неё спаситель.

Мона вытирает о полотенце пинцет и иголку, на белой ткани остаются красные с жёлтым подтёки. Она нюхает горлышко бутылки со спиртом и говорит:

— Элен считает, что эта книга тебе интересна только на предмет выдать статью для газеты. Она говорит, что когда все заклинания будут уничтожены — в том числе и баюльные, — ты потом будешь ходить и гордиться собой, какой ты, типа, герой.

Я говорю, что в мире и так хватает оружия массового уничтожения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Я говорю, что далеко не все люди, которые владеют магией, собираются сделать мир лучше.

Я говорю Моне, что если вдруг до такого дойдёт, мне будет нужна её помощь.

Я говорю, что может так получиться, что нам придётся убить Элен.

И Мона качает головой над безнадежно испорченным гостиничным полотенцем. Она говорит:

— Стало быть, твой ответ на убийства — ещё больше убийств?

Только Элен, говорю я. И ещё, может быть, Нэша — если моя догадка

на счёт странных смертей манекенщиц верна. Когда мы их убьём, мы снова вернёмся к нормальной жизни.

На экране молодой человек с микрофоном говорит, что три пожарные машины почти перекрыли движение в центре. Он говорит, что все силы брошены на тушение пожара. Он говорит, что это был любимый магазин всех горожан.

— Устрице, — говорит Мона, — не нравятся твои понятия о нормальном.

Любимый магазин всех горожан — букинистический «Книжный амбар». Элен и Устрицы уже нет на экране.

Мона говорит:

— В детективных романах, когда мы их читаем... ты никогда не задумывался, почему нам так хочется, чтобы детектив разрешил загадку и нашёл преступника? — Может быть, говорит она, вовсе не потому, что нам хочется, чтобы свершилась месть или чтобы прекратились убийства. Может, на самом деле нам хочется, чтобы преступник исправился. Детектив — это спаситель убийцы. Представь себе, что Иисус гоняется за тобой, пытаюсь поймать тебя и спасти твою душу. Что он не просто пассивный и терпеливый Бог, а въедливая и агрессивная ищейка. Нам хочется, чтобы преступник раскаялся на суде. Или в камере смертников, в окружении таких же, как он. Детектив — это пастырь, и нам хочется, чтобы преступник, блудная овца, вернулся в стадо, вернулся к нам. Мы его любим. Мы по нему скучаем. Мы хотим заключить его в объятия и прижать к груди.

Мона говорит:

— Может, поэтому столько женщин выходит замуж за заключённых, и за убийц в том числе. Чтобы их исцелить.

Я говорю ей, что по мне никто не скучает.

Мона качает головой и говорит:

— Знаешь, вы с Элен очень похожи на моих родителей.

Мона. Шелковица. Моя дочь.

Я ложусь на кровать и спрашиваю: как так?

Мона говорит, вытаскивая у меня из ноги дверную раму:

— Как раз сегодня утром Элен мне сказала, что может так получиться, что ей придётся тебя убить.

У меня бибикает пейджер. Этого номера я не знаю. В сообщении сказано, что дело срочное.

Мона вытаскивает витражное окно из окровавленной дырки у меня в ноге. Она поднимает его, так что свет проходит сквозь разноцветные

кусочки, смотрит сквозь крошечное окошко и говорит:

— Меня больше волнует Устрица. Он далеко не всегда говорит правду.

И тут открывается дверь. Снаружи ревут сирены. В телевизоре тоже ревут сирены. По шторам проходит отсвет от красной и синей мигалки. В номер вваливаются Элен и Устрица, они смеются и тяжело дышат. Устрица размахивает пакетом с косметикой. Элен держит в руке туфли на шпильках. От обоих пахнет шотландским виски и дымом.

Глава двадцать шестая

Представьте себе чуму, которая передаётся на слух.

Устрица со своим экологическим бредом, обниманием деревьев, насильственным биозахватом и прочими апокрифическими заморочками. Вирус его информации. То, что всегда мне казалось сочными и зелёными джунглями, обернулось трагедией от европейского плюща, который душит и убивает все остальные растения. А стаи скворцов — с их чёрным сияющим оперением и приятным весёлым щебетом — обернулись убийцами, которые разоряют гнёзда сотни видов туземных птиц.

Представьте себе идею, которая занимает ваш разум, как армия — павший город.

*Там, за окнами нашей машины, — Америка.
О прекрасные небеса, где чёрные стаи скворцов
Над янтарными волнами пижмы.
О пурпурные горы вербейника,
Над равнинами, где бубонная чума.
Америка.
Осада идей. Незаконный захват власти над жизнью.
Мёртвая хватка.*

Когда послушаешь Устрицу, стакан молока — это уже не просто стакан молока, чтобы запивать шоколадные печенюшки. Коров специально накачивают гормонами и держат их в состоянии перманентной беременности. Это неизбежные телята, которые живут всего несколько месяцев, втиснутые в тесные стойла. Свиная отбивная означает, что свинья бьётся в агонии и истекает кровью, подвешенная за ногу к потолку, пока её заживо режут на отбивные, шейку и карбонат. Даже яйцо вкрутую — это несчастная курица, с искалеченными ногами, потому что она постоянно сидит в инкубаторе — в клетке четыре на четыре дюйма, такой узкой, что она даже не может расправить крылья. От такой жизни она сходит с ума, но ей заранее отрезали клюв, чтобы она не заклевала других наседок в соседних клетках. Её перья вытерлись о прутья, клюв у неё отрезан, она кладёт яйцо за яйцом, пока её кости не начинают ломаться от недостатка кальция.

А потом их пускают на суп с лапшой и на всякие полуфабрикаты, этих несчастных куриц, потому что никто их не купит на тушки — настолько они искалечены и исцарапаны. Это и есть куриные котлеты. Кусочки в кляре.

Устрица любит поговорить на подобные темы. Это — его информационная чума. Когда он заводит такой разговор, я делаю радио громче — любую музыку, кантри или вестерн. Или трансляцию баскетбольного матча. Что угодно, лишь бы было достаточно громко и длинно, чтобы я мог сделать вид, что сандвич, который я ем, — это просто мой завтрак. Что животные — это животные. Что яйцо — это просто яйцо. Что сыр — это сыр, а не страдания новорождённого телёнка. Что у меня как у человека есть неотъемлемое право на еду.

Большой Брат поёт и пляшет, чтобы я ни о чём не задумывался. Для моего же блага.

В сегодняшней местной газете сообщение о смерти очередной манекенщицы. Там же помещено объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СОБАЧЬЕЙ ФЕРМЫ

«УПАВШАЯ ЗВЕЗДА»

В объявлении сказано: «Если ваша собака, купленная на указанной ферме, оказалась больна бешенством, звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Проезжая по краю, который раньше был просто красивым краем с потрясающей природой, и доедая свой завтрак, который раньше был просто сандвичем с варёным яйцом, я интересуюсь, почему они просто не купили те три книги в «Книжном амбаре». Устрица и Элен. Можно было вообще их не покупать, а просто вырвать страницы. Я говорю, что цель нашей поездки заключается в том, чтобы никому *не пришлось* сжигать книги.

— Расслабься, — говорит Элен. Она, как всегда, за рулём. — В том магазине было три экземпляра. Но вот в чём проблема: они не знали, где именно их искать.

А Устрица говорит:

— Там все полки были перепутаны. — Мона спит, положив голову ему на колени, и он рассеянно перебирает руками её дреды, разделяя чёрные и

красные пряди. — Она по-другому не засыпает, — говорит он. — Она будет спать вечно, если я не перестану трогать её волосы.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается моя жена. Жена и дочка.

С этими пожарными сиренами мы всю ночь не спали.

— Этот «Книжный амбар», он был как крысиное гнездо, — говорит Элен.

Устрица вплетает в волосы Моны кусочки разломанной цивилизации. Артефакты из моей ноги, обломки колонн, лестниц и громоотводов. Он распускает её ловца снов навахо и вплетает ей в волосы монеты И-Цзын, стеклянные бусины и верёвочки. И перья пасхальных цветов: голубые и розовые.

— Мы весь вечер искали, — говорит Элен. — Проверили каждую книжку в отделе детской литературы. Потом прочесали раздел «Наука». Потом — Религию. Философию. Поэзию. Народный фольклор. Этническую литературу. Мы перебрали всю художественную литературу.

Устрица говорит:

— В компьютере книги были, но потерялись где-то в магазине.

И они сожгли весь магазин. Ради трёх книг. Они сожгли десятки тысяч книг, чтобы наверняка уничтожить те три.

— Другого выхода не было, — говорит Элен. — Ты знаешь, насколько они опасны, эти книги.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Содом и Гоморра. Что Бог пощадил бы эти города, если бы там остался хотя бы один безгрешный и добрый человек.

Здесь же всё наоборот. Уничтожены тысячи, чтобы гарантированно уничтожить единицы.

Представьте себе новое Средневековье, новое мракобесие. Представьте костры из книг. И в тот же костёр полетят фильмы и аудиозаписи, радиоприёмники и телевизоры.

И я даже не знаю, чем мы сейчас занимаемся: предотвращаем такой поворот событий или, наоборот, приближаем.

По телевизору передали, что при пожаре погибли двое охранников.

— На самом деле, — говорит Элен, — они были мертвы ещё до пожара. Нам нужно было спокойно разлить бензин.

Мы убиваем людей для спасения жизней?

Мы сжигаем книги, чтобы спасти книги?

Я задаю вопрос: во что превращается наша поездка?

— Ни во что она не превращается, — говорит Устрица, пропуская

прядь волос Моны сквозь монетку с дырочкой. — Чем она была, тем она и осталась. Захват власти над миром.

Он говорит:

— Ты, папочка, хочешь, чтобы всё осталось таким, как есть, но чтобы главным был ты.

Он говорит, что Элен тоже хочет, чтобы всё осталось таким, как есть, но чтобы главной была она. Каждое поколение хочет быть последним. Каждое поколение ненавидит новое направление в музыке, которую не понимает. Нас бесит и злит, когда наша культура сдаёт позиции, уступая место чему-то другому. Нас бесит и злит, когда наша любимая музыка играет в лифтах. Когда баллада нашей революции превращается в музыкальную заставку для телерекламы. Когда мы вдруг понимаем, что наш стиль одежды и наши причёски уже стали *ретро*.

— Лично я, — говорит Устрица, — за то, чтобы всё вообще уничтожить — и людей, и книги — и начать всё заново. И чтобы главных не было.

А он и Мона будут новыми Адамом и Евой?

— Нет, — говорит он, убирая волосы Моны с её лица. — Нас тоже уничтожат.

Я интересуюсь, неужели он так ненавидит людей, что даже готов убить женщину, которую любит. Я говорю, почему бы ему просто не покончить самоубийством.

— Нет, — говорит Устрица, — я всех люблю. Растения, животных, людей. Я просто не верю в великую ложь, что мы все можем плодиться и размножаться, не уничтожая при этом себя.

Я говорю, что он предатель своего племени.

— Я, бля, самый что ни на есть патриот, — говорит Устрица, глядя в окно. — Баюльная песня — это благословение. Зачем, ты думаешь, её вообще придумали? Она спасёт миллионы людей от медленной и мучительной смерти — от болезней и голода, от солнечной радиации и войны, от всего, к чему мы сами себя толкаем.

То есть он готов убить себя и Мону? А как насчёт его родителей? Он их тоже убьёт? А как насчёт маленьких детей, которые только ещё начинают жить? А как насчёт всех хороших и добрых людей, которые выступают за экологию и не мусорят на улицах? Как насчёт вегетарианцев? В чём они виноваты?

— Речь не о том, кто виноват, а кто нет, — говорит он. — Динозавры не были ни хорошими, ни плохими с точки зрения морали, однако же они вымерли.

Рассуждения в точности как у Адольфа Гитлера. Как у Иосифа Сталина. Как у серийного убийцы. Как у массового убийцы.

Устрица говорит, вплетая в волосы Моны витражное окошко:

— И я хочу сделаться тем, от чего вымерли динозавры.

Я говорю, динозавры вымерли из-за природного катаклизма.

Я говорю, что не хочу ехать в одной машине с человеком, который мечтает сделаться массовым убийцей.

И Устрица говорит:

— А как насчёт доктора Сары? Мамуль? Помоги мне подсчитать. Скольких ещё человек он уже убил, наш папуля?

И Элен говорит:

— Я зашиваю рот рыбе.

Я слышу, как Устрица щёлкает зажигалкой, оборачиваюсь к нему и спрашиваю: ему обязательно курить прямо сейчас? Я пытаюсь поесть.

Но Устрица держит над зажигалкой Монину книгу «Прикладное искусство американских индейцев». Держит её корешком вверх и быстро перелистывает страницы над крошечным язычком пламени. Потом чуть-чуть приоткрывает окно, выставляет книгу наружу, чтобы огонь разгорелся на ветру, и бросает её на дорогу.

Костёр кровельный любит огонь.

Устрица говорит:

— Многие зло — от книг. Шелковице надо изобрести свой собственный путь духовного просвещения.

У Элен звонит мобильный. У Устрицы звонит мобильный.

Мона вздыхает и шевелится во сне. Глаза у неё закрыты, Устрица гладил её по волосам, у него звонит телефон, но он на звонок не отвечает, Мона зарывается лицом Устрице в колени и говорит:

— Может быть, в гримуаре есть заклинание, чтобы остановить перенаселённость.

Элен открывает свой ежедневник и записывает имя под сегодняшней датой. Она говорит в трубку:

— Не надо никаких священников, изгоняющих бесов. Мы можем выставить дом на продажу уже сегодня.

Мона говорит:

— Что нам нужно, так это какое-нибудь универсальное заклинание «всемирной кастрации».

Я интересуюсь: здесь никого не волнует, что после смерти он попадёт прямо в ад?

Устрица достаёт телефон из своего бисерного мешочка.

Телефон всё звонит и звонит.

Элен прижимает свой телефон к груди и говорит:

— Я даже не сомневаюсь, что правительство уже ищет пути, как остановить перенаселённость, — какую-нибудь вирусную заразу, что-нибудь в этом роде.

А Устрица говорит:

— Чтобы спасти мир, Иисус страдал на кресте почти сорок часов. — Его телефон так и звонит. — Ради такого дела я готов страдать вечность в аду.

Его телефон всё звонит и звонит.

Элен говорит в трубку:

— Правда? У вас в спальне пахнет серой?

— Вот и думай, кто лучший спаситель, — говорит Устрица и наконец отвечает на звонок. Он говорит в трубку: — «Мымра, Муфта и Макака», юридические услуги.

Глава двадцать седьмая

Представьте себе, что пожар в Чикаго в 1871 году бушевал где-то полгода, прежде чем кто-то это заметил. Представьте, что наводнение в Джонстауне 1998 года или землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году длились полгода, или даже год, или вообще два года, прежде чем кто-нибудь обратил внимание на происходящее.

Строительство из дерева, строительство на линиях разлома земной коры, строительство на затопляемых равнинах — у каждой эпохи свои собственные «природные» катаклизмы.

Представьте себе наводнение тёмной зелени в центре любого большого города, офисные и жилые здания погружаются в эту самую зелень, дюйм за дюймом.

Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле. С опозданием на день, на неделю, на год. Задним числом. Мы с Сержантом по-прежнему охотимся на ведьм.

Hedera helixseattle, так ботаники называют этот новый вид европейского плюща. Одна неделя — и зелёные насаждения вокруг Олимпийского стадиона вроде бы чуть разрослись. Плющ слегка потеснил анютины глазки. Побег плюща прикрепился к кирпичной стене и поползл вверх. Никто этого не заметил. В последнее время в городе шли дожди.

Никто ничего не замечал, пока в один прекрасный день не оказалось, что двери в подъездах жилого комплекса «Парк-Сеньор» не открываются, потому что они заросли плющом. В тот же день южная стена театра Фримонт — кирпичи и бетон толщиной в три фута — едва не обрушилась на толпу продавцов и покупателей на уличной распродаже. В тот же день просела подземная часть автовокзала.

Никто не может сказать, когда именно здесь появился *Hedera helixseattle*, но попробуйте догадаться.

В «Сиэтл-таймс» от 5 мая, в разделе «Развлечения и досуг», есть объявление. Шириной в три колонки.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СУШИ-БАРА «ОРАКУЛ»

В объявлении сказано: «Пообедав в указанном суши-баре, вы

заразились кишечными паразитами, вызывающими зуд и чесотку в ректальной области? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд». Дальше, понятное дело, указан номер.

Мы с Сержантом звоним. Вернее, я звоню, а Сержант сидит рядом.

Мужской голос на том конце линии говорит:

— «Дюбель, Домбра и Дурында», юридические услуги.

И я говорю:

— Устрица?

Я говорю:

— Ты где, пиздюк?

И он вешает трубку.

Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле, в закусочной неподалёку от здания Управления общественных работ. Официантка говорит нам с Сержантом:

— Этот плющ уже не убьёшь. — Она наливает нам кофе. Она смотрит в окно на стену зелени, увитую толстым серым плющом. Она говорит: — Без него всё рассыплется.

В сетке из ползучих побегов и листьев шатаются кирпичи. По бетону расходятся трещины. Оконные рамы сдавлены, так что в них разбиваются стёкла. Двери не открываются, потому что они заросли плющом. Птицы летают среди буйной зелени, клюют семена плюща, а потом гадят — разносят его повсюду. Улицы превратились в каньоны зелени, под зелёным ковром уже не видно асфальта.

«Зелёная угроза», так называют это в газетах. Плющевой эквивалент пчёл-убийц. Плющевой ад.

Тишина, неотвратимая. Крушение цивилизации в замедленной съёмке.

Официантка рассказывает, что всякий раз, когда работники городских служб вырубают плющ, или выжигают его огнём, или поливают ядохимикатами — даже когда в город выпустили карликовых коз, чтобы они его съели, плющ, — он разрастается ещё больше. Обрушиваются подземные тоннели. Корни плюща разрывают подземный кабель и водопроводные трубы.

Сержант вновь и вновь набирает номер, указанный в объявлении про суши-бар, но там никто не отвечает.

Официантка смотрит в окно на побеги плюща, которые уже добрались до середины улицы. Через неделю она лишится работы.

— Национальная гвардия обещала помочь, — говорит она.

Она говорит:

— Я слышала, что в Портленде тоже плющ. И в Сан-Франциско. —
Она вздыхает и говорит: — Мы, определённо, проигрываем эту битву.

Глава двадцать восьмая

Человек открывает дверь, и мы с Элен стоим на крыльце, я стою на шаг сзади и держу её косметичку, а Элен тычет в мужчину пальцем с длинным розовым ногтем и говорит:

— О господи.

Она суёт свой ежедневник под мышку и говорит:

— Мой муж. — Она отступает на шаг. — Мой муж хотел бы представить вам свидетельства благодати Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня Элен во всём жёлтом, но это не жёлтый, как лютик, а жёлтый, как лютик, отлитый из золота и украшенный цитронами, работы Карла Фаберже.

В руке у мужчины — бутылка пива. На ногах — толстые носки, без обуви. Его махровый халат не застёгнут, под халатом — белая футболка и боксёрские трусы в маленьких гоночных машинках. Он подносит бутылку пива ко рту и запрокидывает голову. В бутылке булькают пузырьки. У гоночных машинок овальные шины, наклонённые вперёд. Мужик смачно рыгает и говорит:

— Вы, ребята, серьёзно?

У него чёрные волосы. Они свисают на морщинистый лоб а-ля Франкенштейн. Под глазами у него мешки, а сами глаза печальные, как у грустного пса.

Я протягиваю ему руку. Мистер Сьерра? — говорю я. Мы пришли, чтобы разделить с вами божью любовь.

Мужик с машинками на трусах хмурится и говорит:

— Откуда вы знаете, как меня зовут? — Он подозрительно косится на меня и говорит: — Вас Бонни прислала со мной поговорить?

Элен заглядывает в гостиную, слегка наклонившись вбок. Открывает сумочку, достаёт пару белых перчаток и надевает их. Застёгивает крошечные пуговицы на перчатках и говорит:

— Нам можно войти?

Предполагалось, что всё будет проще.

План В. Если дома мужчина, действуем по плану В.

Мужик с машинками на трусах снова подносит бутылку ко рту и всасывает в себя пиво, втянув небритые щёки. Остатки пива выбулькиваются в рот. Он отступает в сторону:

— Ну ладно, входите. Садитесь. — Он смотрит на пустую бутылку и

говорит: — Пива хотите?

Мы заходим, а он идёт на кухню. Слышно, как он открывает бутылки.

В гостиной стоит только кресло-кровать, другой мебели нет. На картонном ящике из-под молока — маленький переносной телевизор. За раздвижными стеклянными дверями — маленький внутренний дворик. В дальнем конце дворика — большие вазы с цветами, заполненные до краёв дождевой водой. Цветы давно сгнили. Гнилые бурые розы на чёрных стебельках, махрящихся серым мхом. Вокруг одного из букетов обвязана широкая чёрная лента.

На потёртом ковре в гостиной — продавленный след от отсутствующего дивана. Продавленный след от комода, маленькие углубления от ножек стульев и столов. Большой плоский квадрат, выдавленный на ковре. Выглядит очень знакомо.

Мужик с машинками на трусах указывает на кресло-кровать:

— Садитесь. — Он отпивает пива и говорит: — Садитесь, и поговорим о Боге. Какой он на самом деле.

Плоский квадрат на ковре остался от детского манежика.

Я спрашиваю: можно моя жена сходит у вас в туалет?

Он наклоняет голову набок и смотрит на Элен. Чешет свободной рукой затылок и говорит:

— Конечно. В конце коридора. — Он указывает рукой, в которой держит бутылку.

Элен смотрит на пиво, пролившееся на ковёр, и говорит:

— Спасибо. — Достает из подмышки свой ежедневник, передаёт его мне и говорит: — Если тебе вдруг понадобится, вот Библия.

Её ежедневник с именами жертв и адресами домов с привидениями. Потрясающе.

Он ещё тёплый после её подмышки.

Она уходит по коридору. В ванной включается вентилятор. Где-то хлопает дверь.

— Садись, — говорит мне мужик с машинками на трусах.

Я сажусь.

Он стоит так близко ко мне, что я боюсь открывать ежедневник — боюсь, он увидит, что это никакая не Библия. От него пахнет пивом и потом. Маленькие гоночные машинки — как раз на уровне моих глаз. Овальные шины наклонены вперёд, и поэтому кажется, что они едут быстро. Мужик отпивает пива и говорит:

— Расскажи мне о Боге всё.

От кресла-кровати пахнет так же, как от мужика. Золотистый плюш,

коричневый от грязи на подлокотниках. Он тёплый. И я говорю, что Бог честный и бескомпромиссный, он не принимает ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Он — бастион честности и прямоты, прожектор, который высвечивал всё зло мира. Бог навсегда остаётся в наших сердцах и душах, потому что собственный его дух нестигаем и не...

— Вздор, — говорит мужик. Он отворачивается, подходит к стеклянным дверям и смотрит во внутренний дворик. Его лицо отражается в стекле — только глаза, щёки, покрытые тёмной щетиной, тонут в тени.

Я говорю голосом радиопроповедника, что Бог — это высокий моральный критерий, по которому миллионы людей должны измерять свою жизнь. Он — пламенеющий меч, посланный к нам, дабы изгнать нечестивцев из храма...

— Вздор! — кричит мужик своему отражению в стекле. Пиво течёт из его отражённого рта.

В дверях гостиной появляется Элен. Держит руку во рту и жуёт согнутый палец. Смотрит на меня и пожимает плечами. Потом опять исчезает в сумраке коридора.

Я говорю, что Бог — это неодолимая сила и великое нравственное побуждение. Бог — совесть нашего мира, мира греха и злобных намерений, мира скрытых...

— Вздор, — говорит мужик тихо, почти что шёпотом. Пар от его дыхания стёр его отражение. Он оборачивается ко мне, указывает на меня рукой, в которой держит бутылку, и говорит: — Прочитай мне, где в твоей Библии говорится, как сделать так, чтобы всё стало по-прежнему.

Я слегка приоткрываю ежедневник Элен, переплетённый в красную кожу, и заглядываю внутрь.

— Подскажи, как доказать полиции, что я никого не убивал, — говорит он.

В ежедневнике — имя, Ренни О'Тул, и дата, 2 июня. Я не знаю, кто это такой. Знаю только, что он уже мёртв. 10 сентября — Самара Амписи. 17 августа Элен продала дом на Гарднер-Хилл-роуд. В тот же день она убила царя-тирана республики Тонгле.

— Прочитай! — кричит мужик с машинками на трусах. Пиво у него в руке проливается пеной ему на пальцы и капает на ковёр. Он говорит: — Прочитай, где говорится, что в одну ночь ты теряешь всё, что у тебя было хорошего в жизни, и тебя же потом обвиняют.

Я смотрю в ежедневник на имена мёртвых людей.

— Прочитай, — говорит он и отпивает ещё пива. — Прочитай, где говорится, что жена может обвинить мужа в убийстве их ребёнка, и все ей

поверят.

В самом начале ежедневника написанное стёрлось, так что почти невозможно прочесть. Мелкий, убористый почерк. Страницы как будто засижены мухами. А ещё раньше кто-то вырвал страницы.

— Я просил Бога, — говорит мужик. Он потрясает бутылкой пива и говорит: — Я просил Бога, чтобы он дал мне семью. Я ходил в церковь.

Я говорю, может быть, в самом начале Бог не набрасывался на каждого, кто молился, с проповедями и обличениями. Я говорю, может быть, это всё из-за того, что на протяжении многих лет к Нему обращались по поводу тех же самых проблем — нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это всё из-за того, что Его аудитория выросла и больше людей стали к Нему обращаться с просьбами. Может быть, это всё из-за того, что Его популярность так выросла. Может быть, власть развращает, но Он не всегда был таким мерзавцем.

Мужик с машинками на трусах говорит:

— Слушай. — Он говорит: — Через два дня был у меня суд. Там будут решать, виновен ли я в убийстве собственного ребёнка. — Он говорит: — Скажи мне, как Бог собирается меня спасти.

У него изо рта пахнет пивом. Он говорит:

— Ну, давай, скажи мне.

Мона наверняка заставила бы меня сказать правду. Чтобы спасти этого парня. Чтобы спасти себя и Элен. Чтобы воссоединить нас со всем человечеством. Может быть, этот мужик и его жена тоже воссоединятся, но тогда стихотворение проникнет в мир. Умрут миллионы. А все остальные будут жить в мире молчания и слушать лишь то, что им кажется безопасным. Будут затыкать уши и жечь книги, фильмы и аудиозаписи.

Вода сливается в унитазе. В ванной выключается вентилятор. Открывается дверь.

Мужик подносит бутылку ко рту, внутри пузырится пиво.

Элен появляется в дверях.

У меня жутко болит нога, и я спрашиваю, не думал ли он завести себе какое-нибудь хобби.

Что-нибудь, чем можно занять себя в тюрьме, если дойдёт до тюрьмы.

Конструктивное разрушение. Элен бы одобрила эту жертву. Приговорить одного невиновного, чтобы не умерли миллионы.

Вспомним подопытных животных — каждое умирает, чтобы спасти дюжину раковых больных.

Мужик с машинками на трусах говорит:

— По-моему, вам лучше уйти.

По дороге к машине я отдаю Элен её ежедневник и говорю: вот твоя Библия. У меня библикает пейджер. Этого номера я не знаю.

Её белые перчатки почернели от пыли. Она говорит, что вырвала из книжки страницу с баюльной песней, разорвала её на мелкие кусочки и выбросила в окно детской. Сейчас дождь. Бумага сгниёт.

Я говорю, что этого не достаточно. Может, её найдёт какой-нибудь ребёнок. Сам факт, что листок порван в клочки, может заставить кого-то собрать их вместе. Например, детектива, который расследует смерть ребёнка.

А Элен говорит:

— В ванной у них кошмар.

Мы объезжаем квартал и паркуемся. Мона что-то пишет у себя в книге. Устрица разговаривает по мобильному. Я выхожу из машины и возвращаюсь к дому. Трава мокрая от дождя, у меня сразу промокли туфли. Элен объяснила мне, где детская. Окно по-прежнему открыто, занавески висят чуть неровно. Розовые занавески.

Кусочки разорванной страницы разбросаны в грязи, я их собираю.

Мне слышно, как за занавесками, в пустой комнате, открывается дверь. Кто-то заходит в комнату из коридора, и я пригибаюсь под окном. Мужская рука ложится на подоконник, и я буквально распластываюсь по стене. Где-то вверху — там, где мне не видно — мужчина плачет.

Дождь льёт сильнее.

Мужчина стоит у распахнутого окна, опершись руками о подоконник. Он плачет в голос. Его дыхание пахнет пивом.

Я не могу убежать. Не могу выпрямиться в полный рост. Зажимая ладонью рот и нос, я потихонькудвигаюсь вбок. На пару дюймов за раз. Прижимаясь спиной к стене. Всё происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб — дыша сквозь прижатые ко рту пальцы, я тоже плачу. Рыдания похожи на рвотные позывы. Живот сводит и крутит. Я закусываю ладонь, сопли текут мне в руку.

Мужчина шмыгает носом. Дождь льёт сильнее, мои ботинки совсем промокли.

Я сжимаю в кулаке клочки разорванной страницы — власть над жизнью и смертью. И я ничего не могу сделать. Пока ещё — не могу.

Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили.

У меня в туфлях хлюпает ледяная вода, нога вдруг перестаёт болеть. Я опускаю руку, скользкую от соплей и слёз, и выключаю пейджер.

Когда мы найдём гримуар и если там будет какое-нибудь заклинание,

как воскрешать мёртвых, может быть, мы его не сожжём. Не сразу.

Глава двадцать девятая

В полицейском протоколе не сказано, какой тёплой была моя жена Джина в то утро. Какой она была тёплой и мягкой под одеялом. Как я прижался к ней, едва проснувшись, а она перевернулась на спину и её волосы рассыпались по подушке. Её голова лежала не прямо, а чуть склонившись к плечу. От её утренней кожи пахло теплом — так пахнет солнечный зайчик, который скачет по белой скатерти на столе в уютном ресторане на пляже в твой медовый месяц.

Солнце светило сквозь синие занавески, и от этого её кожа казалась голубоватой. И её губы — тоже. Тень от ресниц лежала на щеках. На губах застыла почти незаметная улыбка.

Всё ещё в полусне, я повернул её голову лицом к себе и поцеловал её в губы.

Её шея, её плечо были такими расслабленными и мягкими.

Не отрываясь от её мягких и тёплых губ, я задрал ей ночную сорочку.

Она как будто слегка раздвинула ноги, я потрогал рукой — внутри у неё было влажно и незажато.

Забравшись под одеяло, с закрытыми глазами, я провёл языком там, где только что были мои пальцы. Влажными пальцами я раздвинул края её гладкой розовой плоти и засунул язык ещё глубже. Я помню, как я дышал — приливы вдохов, отливы выдохов. И как я прижимался губами к ней — на пике каждого вдоха.

Впервые за долгое время Катрин проспала спокойно всю ночь и ни разу не заплакала.

Я принялся целовать Джине живот. Потом — груди. Я положил один влажный палец ей в рот, другой рукой я ласкал ей соски. Тот, который я не ласкал рукой, я обнимал губами и легонько полизывал языком.

Голова Джины перекатилась набок, и я поцеловал её за ухом. Потом раздвинул ногой её ноги и вошёл в неё.

Едва заметная улыбка у неё на губах, то, как её губы раскрылись в последний момент, а голова ещё глубже вжалась в подушку... она была такой мягкой и тихой. Это было так хорошо — в последний раз так хорошо было ещё до рождения Катрин.

Я встал с кровати и пошёл в душ. Потом тихонько оделся, стараясь не разбудить жену, и вышел из спальни, плотно прикрыв за собою дверь. В детской я поцеловал Катрин в висок. Потрогал подгузник — не надо ли

поменять. Солнце светило сквозь жёлтые занавески. Её игрушки и книжки. Она была такой славной, такой хорошей.

В то утро я себя чувствовал самым счастливым человеком на свете.

Самым счастливым на свете.

И вот, здесь и сейчас. Элен спит на переднем пассажирском сиденье, а я пересел за руль. Сегодня ночью мы проезжаем Огайо, или Айову, или Айдахо. Мона спит на заднем сиденье. Розовые волосы Элен рассыпались у меня по плечу. Мона спит в неудобной скрюченной позе в зеркале заднего вида, спит в окружении своих книг и цветных фломастеров. Устрица тоже спит. Вот — моя жизнь сейчас. В горе и радости. В богатстве и бедности.

Это был мой последний счастливый день. Правду я узнал только вечером, когда вернулся домой с работы.

Джина лежала всё в той же позе.

В полицейском протоколе это назвали бы сексуальным контактом с трупом.

Вспоминается Нэш.

Катрин лежала всё так же тихо. Нижняя часть её головы стала тёмно-красной.

Livor mortis. Окисленный гемоглобин.

Только когда я вернулся домой с работы, я понял, что сделал.

Здесь и сейчас. В запахе кожи в салоне машины Элен. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Сейчас — тот же самый момент во времени, какой был тогда. Мы поставили машину под деревом, на зелёной улице, в квартале маленьких частных домов. Дерево цветёт, и всю ночь на машину падали розовые лепестки и прилипали к росе. Машина Элен — розовая, словно выставочный экземпляр, вся в цветах, я смотрю сквозь маленькое пространство на лобовом стекле, ещё не засыпанное цветами.

Бледный утренний свет, проникающий сквозь лепестки — розовый.

Розовый свет на Элен, Моне и Устрице, спящих.

Чуть впереди по улице — пожилая пара возится с цветами на клумбах у дома. Старик наполняет водой канистру. Старушка стоит на коленях, выпалывает сорняки.

Я включаю свой пейджер, и он сразу же начинает бибикать.

Элен дёргается во сне и просыпается.

На пейджере высвечивается телефон. Этого номера я не знаю.

Элен выпрямляется на сиденье, сонно моргает и смотрит на меня. Потом смотрит на крошечные часики у себя на руке. На одной щеке у неё — продавленный красный след от изумрудной серёжки-висюльки. Она смотрит на слой розовых лепестков на лобовом стекле. Запускает в волосы

руки с розовыми ногтями и взбивает причёску. Она говорит:

— Мы сейчас где?

Есть люди, которые всё ещё верят, что знание — сила.

Я говорю, что понятия не имею.

Глава тридцатая

Мона стоит у меня над душой. Тычет мне в лицо ярким рекламным проспектом и говорит:

— Давайте сходим туда. Ну пожалуйста. Всего на пару часов. Ну пожалуйста.

На фотографиях в брошюрке — люди на американских горках, они кричат и машут руками. Люди на электрических автомобильчиках на площадке, выложенной по периметру старыми автопокрышками. Люди с сахарной ватой и люди на лошадках на карусели. Люди на «чёртовом колесе». Надпись большими буквами по верху страницы: «Страна смеха, отдых для всей семьи».

Вместо букв «А» и «О» — четыре смеющиеся клоунские рожицы. Мама, папа, сын и дочка.

Нам предстоит обезвредить ещё восемьдесят четыре книжки. Это ещё несколько дюжин библиотек по всей стране. Нам надо ещё разыскать гримуар. Воскресить мёртвых. Или кастрировать всех поголовно. Или же уничтожить всё человечество — у каждого свои понятия.

Надо столько всего ещё сделать, столько всего исправить. Вернуться к Богу, как сказала бы Мона. Просто чтобы не нарушать равновесие.

Карл Маркс сказал бы, что мы должны превратить все растения и всех животных в своих врагов, и тогда то, что мы их убиваем, будет оправданно.

В сегодняшних газетах сообщают, что муж одной из манекенщиц задержан по подозрению в убийстве.

Я стою в телефонной будке у входа в библиотеку в маленьком провинциальном городе. Элен с Устрицей пошли потрошить книгу.

Мужской голос в трубке произносит:

— Отдел расследования убийств.

Я спрашиваю: кто говорит?

И он отвечает:

— Детектив Бен Дантон, отдел расследования убийств. — Он говорит: — Кто это?

Полицейский детектив. Мона назвала бы его моим спасителем, посланным, чтобы вернуть меня к человечеству. Этот — тот самый номер, который высвечивался у меня на пейджере уже несколько дней.

Мона переворачивает проспектик и говорит:

— Посмотри.

У неё в волосы вплетены обломки ветряных мельниц, радиобашен и железнодорожных эстакад.

На фотографиях клоуны обнимают улыбающихся детей. Родители держатся за руки и проезжают в крошечных лодках по Тоннелю Любви.

Она говорит:

— Да, поездка у нас рабочая, но это не значит, что надо всё время работать.

Элен выходит из библиотеки и спускается по ступенькам, и Мона бросается к ней и говорит:

— Элен, мистер Стрейтор сказал, что можно.

Я прижимаю трубку к груди и говорю, что я этого не говорил.

Устрица выходит из библиотеки и встаёт за спиной Элен, чуть сбоку.

Мона тычет брошюрой в лицо Элен и говорит:

— Смотри, как там весело.

Детектив Бен Дантон говорит в трубке:

— Кто говорит?

Это было нормально — принести в жертву того мужика с машинками на трусах. Это было нормально — принести в жертву ту молодую женщину с цыплятками на фартуке. Скрыть от них правду, не избавить их от страданий. И принести в жертву вдовца очередной манекенщицы. Но пожертвовать *собой* ради того, чтобы спасти миллионы, — это другое дело.

Я говорю, что меня зовут Стрейтор и что он мне звонил на пейджер.

— Мистер Стрейтор, — говорит он. — Нам надо задать вам несколько вопросов. Вы не могли бы зайти?

Я спрашиваю: вопросов — о чём?

— Нам лучше поговорить лично, — отвечает он.

Я говорю: это насчёт смертей?

— Когда вы сможете к нам зайти? — отвечает он.

Я говорю: это насчёт смертей без очевидной причины?

— Лучше раньше, чем позже, — говорит он.

Я говорю: это не потому, что среди тех, кто умер, был мой сосед сверху и трое моих сослуживцев?

И Дантон говорит:

— Что?

Я говорю: это не потому, что я проходил мимо по улице, в тот момент, когда умерли ещё трое?

И Дантон говорит:

— Для меня это новость.

Я говорю: это не потому, что я был в том баре на Третей авеню, как

раз в тот момент, когда умер тот молодой человек с бачками?

— Э, — говорит он. — Марти Латанзи.

Я говорю: это не потому, что на телах манекенщиц обнаружены признаки сексуальных контактов, произведённых уже после смерти, — такие же признаки, как и на теле моей жены двадцать лет назад? И я даже не сомневаюсь, что у них есть видеозапись, как я разговаривал с библиотекарем Саймоном в тот момент, когда он так скоропостижно скончался.

Мне слышно, как на том конце линии скрипит карандаш. Детектив Бен Дантон быстро записывает за мной.

Мне слышно, как кто-то ещё, в той же комнате, рядом с телефоном, говорит:

— Держи его на линии.

Я говорю: это что — хитрый ход, чтобы арестовать меня по обвинению в убийстве?

Детектив Бен Дантон говорит:

— Лучше не доводить до того, чтобы мы взяли ордер о принудительном приводе.

Не важно, сколько людей умирает, всё равно всё остаётся по-прежнему.

Я говорю: офицер Дантон, вы мне не скажете, где вы сейчас находитесь — в этот самый момент?

Палки и камни могут и покалечить, опять то же самое. Всё происходит само собой. Непроизвольно, как крик. Баюльная песня звучит у меня в голове, и в трубке вдруг — тишина.

Я убил своего спасителя. Детектива Бена Дантона. Я отошёл от человечества ещё на шаг.

Конструктивная деструкция.

Устрица трясёт свою пластиковую зажигалку, бьёт её о ладонь. Потом отдаёт её Элен. Она достаёт из сумочки сложенный листок. Поджигает страницу 27 и держит её над водосточным жёлобом.

Мона читает проспект, и Элен подносит к нему горящую бумажку. Фотографии счастливых улыбающихся семей вспыхивают ярким пламенем, Мона кричит и роняет брошюрку. Держа горящую бумажку, Элен подпихивает горящий проспект ногой к водосточному жёлобу. Огонь у неё в руке разгорается всё сильнее, дым вьётся по ветру.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Нэш и его горящая салфетка.

Элен говорит:

— Мы здесь не *веселимся*. — Свободной рукой она передаёт мне

ключи от машины.

И вот тут оно и происходит. Устрица хватается Элен рукой за шею и пытается сбить её с ног. Она раскидывает руки, чтобы удерживать равновесие, и он вырывает у неё горящий листок. Баюльную песню.

Элен падает на колени, выскользнув из захвата Устрицы. Она вскрикивает от боли, ударившись коленями об асфальт, и сползает с тротуара в канаву. Ключи от машины — по-прежнему у неё в кулаке.

Устрица колотит горящим листком себе по бедру, чтобы сбить огонь. Держа листок обеими руками, он быстро пробегает глазами по строчкам, пока они окончательно не сгорели.

Он бросает листок только тогда, когда огонь добирается до его рук. Он кричит:

— Нет! — и сунет обожжённые пальцы в рот.

Мона отступает назад, зажимая руками уши. Её глаза плотно зажмурены.

Элен стоит на четвереньках на решётке водостока, возле догорающей брошюры. Она смотрит на Устрицу снизу вверх. Можно сказать, он уже покойник. Причёска у Элен растрепалась, и розовые пряди свисают ей на глаза. Колготки порваны на коленях. Колени содраны в кровь.

— Не убивай его! — кричит Мона. — Пожалуйста, не убивай его! Не убивай!

Устрица падает на колени и хватается сожжённый листок.

Медленно, очень медленно, как часовая стрелка на циферблате, Элен поднимается на ноги. Лицо у неё — всё красное. Но красное не как бирманский рубин, а скорее как кровь у неё на коленях.

Устрица стоит на коленях. Элен стоит над ним. Мона зажимает руками уши, плотно зажмурив глаза. Устрица перебирает в руках пепел. Элен истекает кровью. Я наблюдаю за этой сценой из телефонной будки. С крыши библиотеки снимается стайка дроздов.

Устрица — злобный, капризный и вспыльчивый сын, который был бы у Элен, если бы у неё был сын.

Всё то же стремление к власти.

— Ну, давай, — говорит Устрица. Он поднимает голову и смотрит в глаза Элен. Он улыбается уголком рта и говорит: — Ты убила своего настоящего сына. Убей и меня.

И вот тут оно и происходит. Элен бьёт его по лицу кулаком с зажатými в нём ключами. Через секунду — ещё больше крови.

Ещё один исцарапанный паразит. Ещё один искалеченный шкаф.

Элен отрывает взгляд от окровавленного лица Устрицы и смотрит в

небо, на стайку дроздов. Птицы падают вниз, одна за другой. Их чёрные перья кажутся маслянисто-синими. Их мёртвые глаза — как стеклянные чёрные бусины. Устрица подносит руки к лицу, обе руки — в крови. Элен смотрит на небо. Мёртвые чёрные птицы падают на асфальт. Вокруг нас.

Конструктивная деструкция.

Глава тридцать первая

Примерно в миле от города Элен съезжает на обочину шоссе. Включает аварийные сигналы. Смотрит на свои руки на руле — на руке в мягких обтягивающих перчатках из телячьей кожи. Она говорит:

— Выходи из машины.

На лобовом стекле — мелкие капельки. Начинается дождь.

— Хорошо, — говорит Устрица и рывком распахивает свою дверцу. Он говорит: — Кажется, именно так поступают с собаками, которых не удалось научить проситься писать на улицу.

Его лицо и руки — в корке засохшей крови. Дьявольское лицо. Его растрёпанные белые волосы торчат надо лбом, жёсткие и красные, как рожки дьявола. Рыжая козлиная борода. Среди всей этой красноты его глаза — белые-белые. Но белые не как белые флаги, которые означают, что противник сдаётся. Они белые, как белок сваренного вкрутую яйца от искалеченной курицы в инкубаторской клетке, яйца от массового производства страданий, печали и смерти.

— Точно так же Адама и Еву изгнали из райского сада, — говорит Устрица. Он стоит на полосе гравия у шоссе. Он наклоняется к окошку и спрашивает у Моны, которая так и сидит на заднем сиденье: — Ты идёшь, Ева?

Тут дело не в любви, тут дело во власти.

Солнце садится у Устрицы за спиной. У него за спиной — поташник, ракитник метельчатый и пуэария. У него за спиной — весь мир в беспорядке.

И Мона с обломками западной цивилизации, вплетёнными в волосы, с кусочками распущенного ловца снов и монетками И-Цзын, смотрит на свои руки с чёрными ногтями, сложенные на коленях, и говорит:

— Устрица, то, что ты сделал, — это было неправильно.

Устрица протягивает руку в красных подтёках крови, тянется к Моне и говорит:

— Шелковица, несмотря на все твои травяные благие намерения, из этой поездки ничего не получится. — Он говорит: — Пойдём со мной.

Мона сжимает зубы, смотрит на Устрицу и говорит:

— Ты выбросил мою книгу по искусству индейцев. — Она говорит: — Она была мне нужна, эта книга.

Есть люди, которые всё ещё верят, что знание — сила.

— Шелковица, солнышко. — Устрица гладит её по волосам, и волосы прилипают к его окровавленной руке. Он убирает прядь волос ей за ухо и говорит: — Эта книга была идиотской.

— Ну и ладно, — говорит Мона и отстраняется от него.

И Устрица говорит:

— Ну и ладно, — и захлопывает дверцу, оставляя на стекле кровавый отпечаток ладони.

Он отходит от машины. Качает головой и говорит:

— Забудь меня. Я — просто ещё один Боженкин крокодилчик, которого можно спустить в унитаз.

Элен снимает скорость с нейтралки. Она нажимает какую-то кнопку, и дверца Устрицы закрывается на замок.

Снаружи закрытой машины, смазанно и приглушённо, Устрица кричит:

— Можешь спустить меня в унитаз, но я всё равно буду жрать дерьмо. — Он кричит: — Буду жрать дерьмо и расти.

Элен включает поворотник и выруливает на шоссе.

— Можешь забыть меня, — кричит Устрица. Устрица с красным дьявольским лицом и большими белыми зубами. Он кричит: — Но это не значит, что меня не существует.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается первый шелкопряд непарный, вылетевший в окошко в Медфорде, штат Массачусетс, в 1860-м.

Элен убирает одну руку с руля, прикасается пальцем к глазу и кладёт руку обратно на руль. На пальце в перчатке — тёмно-коричневое пятнышко. Мокрое пятнышко. В горе и радости. В богатстве и бедности. Это — её жизнь.

Мона закрывает лицо руками и плачет в голос.

Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три... я включаю радио.

Глава тридцать вторая

Городок называется Стоун-Ривер, Каменная Речка. Стоун-Ривер, штат Небраска. Так указано в карте. Но когда мы с Сержантом въезжаем в город, на щите-указателе написано совсем другое: «Шивапурам».

Небраска.

Население 17 000.

Посередине улицы, прямо по разделительной полосе, бредёт бурая с белым корова, которую нам приходится объезжать. Корова невозмутимо жуёт свою жвачку и даже не смотрит на нашу машину.

Центр города представляет собой два квартала построек из красного кирпича. Светофор на пересечении двух главных улиц мигает жёлтым. Чёрная корова чешет бок о металлический столб стоп-знака. Белая корова жуёт циннии из горшков на окне почтового отделения. Ещё одна корова лежит перед входом в полицейский участок, перегораживая тротуар.

Пахнет карри и пачули. Помощник шерифа обут в сандалии. Помощник шерифа, почтальон, официантка в кафе, бармен в таверне — у всех на лбу чёрная точка. Бинди.

— Господи, — говорит Сержант. — Весь город теперь исповедует индуизм.

Согласно последнему еженедельному «Альманаху загадочных явлений», это всё из-за говорящей коровы-Иуды.

Самое главное на скотобойнях — обманом заманить коров на настил, который ведёт непосредственно в «камеру смерти». Коров привозят с ферм, они растерянные и испуганные. После многих часов или дней в тесных перевозочных стойлах, обезвоженных и всю дорогу не спавших, коров выгружают на огороженную лужайку перед скотобойней.

Есть верный способ заставить коров войти внутрь: подослать к ним корову-Иуду. Их так действительно называют, таких коров. Эти коровы живут на бойнях. В общем, корову-Иуду выпускают в стадо обречённых коров, она ходит с ними по лужайке, а потом ведёт их за собой на бойню. Растерянные, испуганные коровы никуда не пойдут, если их не поведёт корова-Иуда.

В последний момент — когда остаётся всего один шаг до топора, или ножа, или стального прута, — корова-Иуда отходит в сторону. Ей

сохраняют жизнь, чтобы она повела на смерть очередное стадо. Она всю жизнь занимается только этим — из года в год.

Но вот, как написано в «Альманахе загадочных явлений», корова-Иуда на мясоперерабатывающем заводе в Стоун-Ривер однажды остановилась.

Она встала, перекрывая вход на бойню. Она отказалась отойти в сторону и обречь на смерть стадо, что шло за ней. На глазах у работников бойни корова-Иуда уселась на задние ноги, как обычно сидят собаки, — она уселась на входе, посмотрела на собравшихся людей своими печальными коровьими глазами и заговорила.

Корова-Иуда заговорила человеческими голосом.

Она сказала:

— Прекратите есть мясо, это дурной обычай.

У неё был голос как у молодой женщины. Коровы у неё за спиной ждали, переминаясь с ноги на ногу.

У работников скотобойни отвисли челюсти — так что у некоторых даже попадали сигареты, прямо на залитый кровью пол. Один мужчина проглотил свой жевательный табак. Одна женщина закричала, зажав рот ладонью.

Корова-Иуда, сидя на задних ногах, подняла переднюю ногу, указала копытом на работников бойни и сказала:

— Дорога к мокше пролегает не через боль и страдания других существ.

«Мокша», как объясняется в «Альманахе загадочных явлений», это индусское слово, означающее «искупление грехов, спасение», конец кармического цикла реинкарнаций.

Корова-Иуда проговорила весь день. Она сказала, что люди уничтожили мир природы. Она сказала, что люди должны прекратить истреблять животных. Число людей на Земле должно сократиться, людям необходимо выработать систему квот, согласно которой процентное соотношение людей к другим видам живых существ на планете должно быть резко снижено. Люди могут жить, как хотят, но с условием, что они не будут в большинстве.

Она говорила долго. Она научила их одной песне на хинди. Она заставила их петь хором, а сама дирижировала копытом.

Корова-Иуда ответила на все вопросы о жизни и смерти.

Она всё говорила и говорила.

И вот, здесь и сейчас — мы с Сержантом опять опоздали. Мы снова — задним числом. Охотники на ведьм. Теперь, здесь и сейчас, мы наблюдает за всеми коровами, выпущенными со скотобойни местного

мясоперерабатывающего завода. Завод на окраине города — пустой и тихий. Какой-то мужчина красит серое бетонное здание в розовый цвет. Превращает его в ашрам. На лужайке перед бывшей бойней разбит огород.

С того дня корова-Иуда не произнесла больше ни слова. Она пасётся в частных дворах — щиплет травку. Пьёт из ванночек для купания птиц. Жители города вешают ей на шею гирлянды из живых цветов.

— Они пользуются заклинанием временного захвата чужого тела, — говорит Сержант. Мы остановились, чтобы пропустить громадную, откормленную на убой свинью, которая медленно тащится через дорогу. Ещё несколько свиней и куриц стоят в тени от навеса перед хозяйственным магазином.

Заклинание временного захвата чужого тела позволяет «переселяться» в других людей и вообще во всякое живое существо — твоё сознание входит в другое физическое тело, и оно полностью подчиняется твоей воле.

Я смотрю на него долго-долго и говорю: чья бы корова мычала...

— В людей, в животных, — повторяет Сержант. — В любое живое существо.

И я говорю: да, расскажи поподробнее.

Мы проезжаем мимо мужчины, который раскрашивает розовый ашрам, и Сержант говорит:

— По моему скромному мнению, реинкарнация — это просто ещё один способ отсрочить неизбежное.

И я говорю: да, да, да. Это я уже слышал.

Сержант протягивает руку — морщинистую руку с пятнами на коже — и кладёт её поверх моей руки. Тыльная сторона ладони — вся в завитках седых волос. Пальцы холодные: оттого, что он долго держал в руке пистолет. Сержант сжимает мне руку и говорит:

— Ты меня всё ещё любишь?

И я говорю: а у меня есть выбор?

Глава тридцать третья

Толпы людей обтекают нас, женщины в маечках на бретельках с открытой спиной и мужчины в ковбойских шляпах. Люди едят яблоки в карамели на палочке и фруктовый колотый лёд в бумажных трубочках. Повсюду — пыль. Кто-то наступает Элен на ногу, она убирает ногу и говорит:

— Я склоняюсь к мысли, что не важно, скольких людей я убиваю, — этого всё равно мало.

Я говорю: давай не будем говорить о работе.

По земле тянутся толстые чёрные кабели. В темноте за пределами ярких огней моторы на дизельном топливе вырабатывают электричество. Пахнет соляжкой, жареной картошкой, блевотиной и сахарной пудрой.

Это то, что сейчас называется весельем.

Сверху доносится крик. Мелькает Мона. Этот аттракцион называется «осьминог». Название мигает ярким неоном. Чёрные металлические штуковины, вроде как искорёженные, перекрученные спицы, вертятся вокруг оси. В то же время они поднимаются и опускаются. На конце каждой спицы — сиденье, которое вертится на своей собственной оси. Сверху снова доносится крик и уплывает прочь. Чёрные с красным волосы развеваются на ветру. Серебряные цепочки с амулетами на шее у Моны сбились на сторону. Она вцепилась обеими руками в перекладину безопасности.

Обломки западной цивилизации — орудийные башни, печные трубы — сыплются из Мониных волос. Монеты И-Цзын проносятся мимо, как пули.

Элен смотрит на Мону и говорит:

— Кажется, Мона получила своё заклинание, чтобы летать.

У меня снова бибикает пейджер. Тот же номер, что был у полицейского детектива. Новый спаситель уже пытается сесть мне на хвост.

Не важно, сколько людей умирает, всё равно всё остаётся по-прежнему. Я отключаю пейджер.

Глядя на Мону, Элен говорит:

— Плохие новости?

Я говорю: да так, ерунда. Ничего срочного.

На своих розовых шпильках Элен проходит по грязи и древесным

опилкам, переступая через чёрные кабели.

Я протягиваю ей руку:

— Давай.

И она берёт мою руку. И я держу её и не отпускаю. И она вроде не против. Мы идём рука об руку. И это славно.

У неё осталось лишь пара-тройка больших перстней, так что это совсем не так больно, как можно было бы предположить.

Вертящиеся карусели поднимают ветер. Огни белые, как бриллианты, зелёные, как изумруды, красные, как рубины, огни синие, как бирюза и сапфиры, жёлтые, как цитроны, оранжевые, как медовый янтарь. В динамиках на столбах, понатыканных везде и всюду, грохочет рок-музыка.

Эти рок-голики. Эти тишина-фобы.

Я спрашиваю у Элен, когда она в последний раз каталась на «чёртовом колесе».

Повсюду — мужчины и женщины. Держатся за руки, целуются. Кормят друг друга ошмётками розовой сахарной ваты. Идут в обнимку, засунув руку в задний карман тугих джинсов партнёра или партнёрши.

Глядя на толпу, Элен говорит:

— Не пойми меня неправильно, но когда ты — в последний раз?

В последний раз — что?

— Ты знаешь.

Я не уверен, идёт ли в расчёт мой последний раз, но это было лет восемнадцать назад.

И Элен улыбается и говорит:

— Неудивительно, что у тебя такая походка. — Она говорит: — А у меня это было в последний раз двадцать лет назад, а потом Джона не стало.

На земле, среди древесных опилок и кабелей, валяется смятый газетный листок. В газете — объявление шириной в три колонки:

**ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ АГЕНТСТВА «ЭЛЕН БОЙЛЬ.
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ»**

В объявлении сказано: «Вам продали дом с привидениями? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Номер мобильного Устрицы. И я спрашиваю у Элен: зачем ты ему рассказала?

Элен смотрит на объявление сверху вниз. Вдавливает его в грязь своей

розой шпилькой и говорит:

— По той же причине, почему я его не убила. Иногда он бывает таким обаятельным.

Рядом с объявлением, втоптанном в грязь, — фотография ещё одной мёртвой модели.

Элен смотрит на «чёртово колесо», на кабинки, мигающие красными и белыми огоньками. Она говорит:

— Выглядит очень заманчиво.

Служитель останавливает колесо, и мы с Элен садимся на красные пластиковые сиденья, и служитель закрепляет перекладыны безопасности поперёк наших колен. Он отходит к своей кабине и тянет за рычаг. Включается дизельный мотор. «Чёртово колесо» дёргается, как будто оно сейчас будет крутиться в другую сторону, и мы с Элен поднимаемся в темноту.

Где-то на середине пути к тёмному небу колесо вдруг дёргается и останавливается. Наша кабинка качается, и Элен хватается за перекладину безопасности. С её пальца срывается перстень с бриллиантом и падает вниз — мимо огней и стальных распорок, мимо мерцания и смеющихся лиц, — прямо в мотор с вращающимися шестернями.

Элен провожает его глазами и говорит:

— Почти тридцать пять тысяч долларов.

И я говорю: может быть, с ним ничего не случится. Ведь это бриллиант.

А Элен говорит: в этом-то и проблема. Бриллианты — самые твёрдые из всех твёрдых тел, которые существуют в природе, но их всё-таки можно разбить. Они выдерживают постоянное давление, но внезапный, резкий и сильный удар может разбить их в пыль.

Внизу стоит Мона. Она подбегает и встаёт прямо под нашей кабиной. Она машет руками, скачет на месте и кричит:

— Ух ты! Где Элен?!

Колесо дёргается и снова приходит в движение. Сиденье качается, и сумочка Элен скользит по пластмассе и почти падает вниз, но Элен успевает её подхватить. В сумочке так и лежит серый камушек. Дар от ковена Устрицы. Элен успевает спасти сумку, но её ежедневник всё-таки срывается вниз, раскрывается в воздухе, шелестя страницами, и падает в опилки. Мона бежит к нему и поднимает.

Она бьёт ежедневником о бедро, чтобы стряхнуть с него пыль и опилки, и поднимает его над головой, чтобы мы видели, что всё в порядке.

Элен говорит:

— Благослови, Господи, Мону.

Я говорю: Мона мне говорила, что ты собираешься меня убить.

А Элен говорит:

— А мне она говорила, что ты хочешь убить меня.

Мы смотрим друг другу в глаза.

Я говорю: благослови, Господи, Мону.

А Элен говорит: купишь мне воздушной кукурузы в карамели?

Внизу, на земле — которая всё дальше и дальше, — Мона листает страницы ежедневника. Ежедневно — имена жертв Элен.

Сквозь цветные мигающие огоньки мы смотрим на чёрное небо. Теперь мы чуточку ближе к звёздам. Мона однажды сказала, что звёзды — это самое лучшее, что есть в жизни. На той стороне, куда мы уходим, когда умираем, звёзд не бывает.

Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине. О небесах, где награда за всё — тишина.

Я говорю Элен, что мне надо вернуться домой и доделать кое-какие дела. Причём надо вернуться как можно скорее, пока всё не сделалось ещё хуже.

Мёртвые манекенщицы. Нэш. Полицейские детективы и всё такое. Я не знаю, где и как он раздобыл баюльные чары.

Мы поднимаемся выше и выше, дальше и дальше от запахов, от гула дизельного мотора. Мы поднимаемся к холоду и тишине. Мона, читающая ежедневник, становится всё меньше и меньше. Толпы людей, их деньги, и локти, и ковбойские сапоги — всё становится меньше. Киоски с едой и туалетные кабинки. Крики и музыка — меньше.

На самом верху. Колесо дёргается и замирает. Кабинка качается всё слабее и замирает тоже. Здесь, наверху, ночной ветер играет с розовыми волосами Элен. Неоновый свет, жир и грязь — отсюда, сверху, всё кажется совершенным. Совершенным, надёжным и безопасным. Счастливым. Музыка — просто приглушённый ритм. Бум-бум-бум.

Вот так и надо смотреть на Бога.

Глядя вниз на вертящиеся карусели, на взвихрённые огоньки и крики, Элен говорит:

— Я рада, что ты узнал обо мне всю правду. Наверное, я всё время надеялась, что кто-то меня раскроет. — Она говорит: — И я рада, что это ты.

Её жизнь не такая уж и плохая, говорю я. У неё есть драгоценности. У неё есть Патрик.

— И всё-таки, — говорит она. — Хорошо, когда есть человек, который

знает все твои тайны.

Сегодня на ней голубой костюм, но голубой не как обычное яйцо дрозда, а как яйцо дрозда, которое ты находишь в лесу и переживаешь, что никто из него не вылупится, потому что птенец уже мёртвый. А потом птенец всё-таки *вылупляется*, и ты переживаешь, что делать дальше.

Элен кладёт руку поверх моей руки и говорит:

— Мистер Стрейтор, а *имя* у тебя есть?

Карл.

Я говорю: Карл. Карл Стрейтор.

Я спрашиваю, почему она тогда сказала, что я средних лет.

А Элен смеётся и говорит:

— Потому что так оно и есть. Ты средних лет, я средних лет, мы оба.

Колесо снова дёргается, и мы начинаем спускаться вниз.

Я говорю ей: твои глаза. Я говорю: они голубые.

Вот — моя жизнь.

Мы опускаемся до самого низа, и служитель поднимает перекладину безопасности. Я встаю и подаю руку Элен, помогая ей спуститься. Опилки мягкие и сыпучие, и мы пробираемся сквозь толпу, спотыкаясь на каждом шагу и обнимая друг друга за талию. Мы подходим к Моне, которая так и читает ежедневник.

— Пойдём искать воздушную кукурузу, — говорит Элен. — Карл обещал купить.

Мона держит в руках раскрытый ежедневник. Она поднимает глаза. Её губы слегка приоткрыты. Она быстро моргает — раз, второй, третий. Она вздыхает и говорит:

— Гримуар, который мы ищем... — Она говорит: — Кажется, мы его нашли.

Глава тридцать четвёртая

Ведьмы, когда записывают заклинания, часто используют руны, особые символы тайного кода. По словам Моны, иногда заклинания записывают в обратную сторону, чтобы их можно было прочесть только в зеркале. Заклинания записывают по спирали, начиная от центра листа и раскручивая к краям. Их записывают, как таблички-проклятия в Древней Греции: одну строку — слева направо, вторую — справа налево, третью — опять слева направо, и так далее. Такой способ письма называется «бустрофедон», от греческих слов *bus* — «бык» и *stropho* — «поворачиваю», потому что он повторяет движения быка, впряжённого в плуг, который ходит по полю туда-сюда. Существует и способ письма, копирующий движение змеи, когда каждая строчка пишется «змейкой» и строчки как бы расползаются в разные стороны.

Единственное правило — заклинания должны быть запутанными. Чем больше путаницы и недомолвок, тем сильнее будет заклятие. Заморочить, закружить, сплести чары — этим и занимаются ведьмы. Само по себе кружение на месте — очень сильное магическое действие. Бога-мага, покровителя ведьм и колдунов, Гефеста изображают со сплетёнными или скрещёнными ногами.

Чем больше путаницы и неясностей в заклинании, тем сильнее оно воздействует на намеченную жертву. Собыёт её с толку. Отвлечёт внимание. Жертва растеряется. Застынет в недоумении. У неё собыётся сосредоточенность.

Похоже на приёмы Большого Брата с его песнями и плясками.

Всё то же самое.

На гравиевой стоянке, на полпути между выходом из луна-парка и машиной Элен, Мона поднимает ежедневник над головой, так чтобы огни луна-парка светили сквозь одну страницу. Сначала видно только то, что Элен записала на этот день: дата, имя — капитан Антонио Кэппелл — и напоминания о встречах по делам агентства. Но потом на странице проступает бледный узор из букв — красные слова, жёлтые предложения, синие абзацы, — в зависимости от того, какой отсвет ложится на лист.

— Невидимые чернила, — говорит Мона, всё ещё держа страницу на свету.

Бледные, как водяные знаки. Призрачные письмена.

— Меня переплёт навёл на мысль, — говорит Мона.

Переплёт из тёмно-красной кожи, почти чёрной из-за того, что ежедневником пользуются постоянно.

— Это человеческая кожа, — говорит Мона.

Элен говорит, что нашла эту книгу в доме Бэзила Франки. Симпатичная старая книга, только пустая. Она купила её вместе с домом. На обложке — чёрная пятиконечная звезда.

— Пентаграмма, — говорит Мона. — Это была чья-то татуировка. А этот маленький бугорок. — Она прикасается пальцем к точке на корешке. — Этот сосок.

Мона закрывает книгу, отдаёт её Элен и говорит:

— Потрогай. Прислушайся к ощущениям. — Она говорит: — Это даже не древняя, это гораздо старше.

Элен открывает сумочку, достаёт пару кожаных белых перчаток с пуговичками на манжетах и говорит:

— Нет. Держи её ты.

Мона смотрит на книгу, раскрытую у неё в руках, и перелистывает страницы туда-сюда. Она говорит:

— Если бы знать, что они использовали вместо чернил, я смогла бы её прочитать.

Если писали уксусом или жидким аммиаком, говорит она, то надо сварить красную капусту и протереть страницу отваром — буквы проявятся малиновым цветом.

Если писали спермой, то написанное можно прочесть под флюоресцентным светом.

Я перебиваю: люди записывают заклинания спермой?

И Мона говорит:

— Только самые сильные заклинания.

Если писали раствором кукурузного крахмала, надо протереть страницу йодом.

Если писали лимонным соком, говорит Мона, нужно нагреть страницу, и тогда буквы проступят коричневым.

— А ты лизни, — говорит Элен. — Если кислое, значит, лимонный сок.

Мона резко захлопывает книгу.

— Это книга заклятий, который тысяча лет, книга, переpletённая в человеческую кожу и, возможно, написанная чьей-то древней спермой. — Она говорит Элен: — *Так что ты её оближи.*

И Элен говорит:

— Ладно, я всё поняла. Постарайся быстрее её прочитать и перевести.

И Мона говорит:

— Это не я таскала её с собой десять лет. Это не я её уничтожала, не я писала поверх всего. — Она держит книгу обеими руками и суёт её Элен под нос. — Это древняя книга. Она написана на архаичном латинском и греческом. Плюс к тому — древние руны, теперь утраченные. — Она говорит: — Мне нужно время.

— Вот. — Элен открывает сумку, достаёт сложенную бумажку, отдаёт её Моне и говорит: — Вот баюльная песня. Один человек, Бэзил Франки, её перевёл. Если сличить её с заклинанием из книги, тогда будет проще перевести все остальные заклятия на том же языке. — Она говорит: — Как на Розеттском камне.

Мона протягивает руку, чтобы взять листок.

Но я вырываю листок у Элен и говорю: почему мы вообще затеяли эту дискуссию? Говорю, что я думал сжечь книгу. Я разворачиваю листок. Это страница 27 из библиотечной книжки. Я говорю: надо сперва подумать. Подумать как следует.

Я говорю Элен: ты уверена, что хочешь так поступить с Моной? Это заклинание сломало жизни нам обоим. И потом, говорю я, что знает Мона, узнает и Устрица.

Элен надевает белые перчатки. Застёгивает пуговички на манжетах, протягивает руку и говорит Моне:

— Отдай мне книгу.

— Но я могу её расшифровать, — говорит Мона.

Элен трясёт рукой и говорит:

— Нет, так будет лучше. Мистер Стрейтор прав. Для тебя всё изменится, всё.

Ночь искрится цветными огнями и дрожит криками.

И Мона говорит:

— Нет, — и прижимает книгу к груди.

— Видишь, — говорит Элен, — оно уже началось. Когда есть хоть какая-то власть, даже возможность власти, тебе сразу хочется большего.

Я говорю Моне, чтобы она отдала книгу Элен.

Мона поворачивается к нам спиной и говорит:

— Это я её нашла. Я — единственная, кто может её прочитать. — Она оборачивается, смотрит на меня через плечо и говорит: — А ты... ты хочешь её уничтожить, чтобы состряпать статью для своей газеты. Хочешь, чтобы всё разрешилось, чтобы можно было об этом писать.

И Элен говорит:

— Мона, котик, не надо.

Мона оборачивается через другое плечо, смотрит на Элен и говорит:
— А тебе хочется власти над миром. Чтобы править единолично. Для тебя главное — власть и деньги. — Она обнимает книгу обеими руками, выставив плечи вперёд; кажется, что она обнимает её всем телом. Она смотрит на книгу и говорит: — Я — единственная, кто понимает, кто ценит её за то, что она собой представляет.

Я говорю ей: послушай, Элен.

— Это Книга Теней, — говорит Мона, — *настоящая* Книга Теней. Она должна быть у настоящей ведьмы. Дайте мне перевести её. Я вам всё расскажу, что удастся понять. Обещаю.

Я складываю страничку с баюльной песней и убираю её в задний карман. Делаю шаг в направлении Моны. Смотрю на Элен, и она кивает.

По-прежнему спиной к нам, Мона говорит:

— Я верну Патрика. — Она говорит: — Я верну всех малышей.

Я хватаю её сзади за талию и приподнимаю над землёй. Мона визжит, колотит меня каблуками по голеним и всё извивается, пытаюсь вырваться, но книгу она держит крепко, и я пропускаю руки у неё под мышками и вцепляюсь в книгу, в мёртвую человеческую кожу. Прикасаюсь к мёртвому соску. К соскам Моны. Мона орёт благим матом и впивается ногтями мне в руки, мягкая кожа у меня под руками. Она впивается ногтями мне в руки, и я хватаю её за запястья и резко дёргаю её руки вверх. Книга падает, Мона, брыкаясь, случайно отпинывает её ногой, и никто этого не замечает — на тёмной стоянке, под аккомпанемент воплей из луна-парка.

Это — жизнь, которая есть у меня. Это — дочка, которую я знал, что когда-нибудь потеряю. Она меня бросит ради бойфренда. Ради дурных пристрастий. Ради наркотиков. Почему-то всё всегда происходит именно так. Борьба за власть. Не важно, каким замечательным и прогрессивным отцом ты себя считаешь, всё равно всё когда-нибудь кончится именно так.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее.

Книга падает на гравий, подняв облако пыли.

Я кричу Элен, чтобы она взяла книгу.

Мона всё-таки вырывается, и мы с Элен отступаем. Элен держит книгу, я оглядываюсь по сторонам, нет ли кого поблизости.

Сжимая кулаки, Мона бросается следом за нами, её красные с чёрным волосы падают ей на лицо. Серебряные цепочки и амулеты запутались в волосах. Оранжевое платье всё перекручено, ворот с одной стороны разодран, так что видно голое плечо. Когда она брыкалась, у неё слетели босоножки, так что теперь она босиком. Её глаза за тёмными скрученными волосами. В её глазах отражаются цветные огни луна-парка, крики

отдыхающих вдалеке могли бы быть эхом её собственных криков, которые звучат и звучат — навсегда.

Вид у неё свирепый. Свирепая ведьма. Колдунья. Злая и разъярённая. Она больше не моя дочь. Теперь она — кто-то, кого мне никогда не понять. Чужая.

Она цедит сквозь зубы:

— Я бы могла вас убить. Вас обоих.

Я провожу рукой по волосам. Поправляю галстук и заправляю выбившуюся рубашку в штаны. Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три, и говорю ей: нет, но мы можем убить *тебя*. Я говорю, что она должна извиниться перед миссис Бойль.

Это то, что теперь называется суровой любовью.

Элен стоит, держа книгу в руках в перчатках, и смотрит на Мону.

Мона молчит.

Дым от дизельных генераторов, крики, рок-музыка и цветные огни делают всё, чтобы разбить тишину. Звёзды в ночном небе молчат.

Элен оборачивается ко мне и говорит:

— Со мной всё в порядке. Пойдём. — Она достаёт ключи от машины и отдаёт их мне. Мы с Элен отворачиваемся от Моны и идём к машине. Но когда я оглядываюсь, я вижу, что Мона смеётся, прикрывая лицо руками.

Она смеётся.

Она видит, что я на неё смотрю, и перестаёт смеяться. Но она всё равно улыбается.

И я говорю ей: чего ты улыбишься? С чего бы ей улыбаться, чёрт побери?

Глава тридцать пятая

Я за рулём. Мона сидит сзади, сложив руки на груди. Элен сидит рядом со мной на переднем сиденье, держит на коленях открытый гримуар и периодически подносит его к окну, чтобы рассмотреть страницы на свет. На переднем сиденье между нами трезвонит её мобильный.

У неё дома, говорит Элен, ещё сохранилась вся справочная литература из поместья Бэзила Франки. В том числе словари греческого, латинского и санскрита. Книги по древней клинообразной письменности. По всем мёртвым языкам. Это может помочь в переводе гримуара. Используя баюльное заклинание как ключ от шифра, как Розеттский камень, она, может быть, и сумеет перевести всё.

Её мобильный так и звонит.

В зеркале заднего вида Мона ковыряет в носу и скатывает козявку в плотный тёмный шарик. Она медленно поднимает глаза и упирается взглядом в затылок Элен.

Мобильный Элен так и звонит.

Мона щелчком отправляет козявку в розовые волосы Элен.

Мобильный так и звонит. Не отрывая глаз от гримуара, Элен подталкивает телефон ко мне. Она говорит:

— Скажи им, что я занята.

Это могут звонить из Государственного департамента США, с новым заданием. Это могут звонить от любого другого правительства, по делу «плаща и кинжала». Нужно срочно нейтрализовать какого-нибудь наркобарона. Или отправить на бессрочную пенсию какого-нибудь мафиози.

Мона открывает свою Зеркальную книгу, свой ведьминский дневник, и что-то там пишет цветными фломастерами.

На том конце линии — женский голос.

Это твоя клиентка, говорю я, прижав трубку к груди. Она говорит, что вчера ночью у них по лестнице катилась отрубленная голова.

Не отрываясь от гримуара, Элен говорит:

— Это особняк в голландском колониальном стиле. Пять спален. На Финей-драйв. — Она говорит: — Она докатилась до самого низа или исчезла ещё на лестнице, голова?

Я спрашиваю у женщины в телефоне.

Я говорю Элен: да, она исчезла где-то на середине лестницы. Жуткая

окровавленная голова с хитрой усмешкой.

Женщина в трубке что-то говорит.

И с выбитыми зубами, говорю я Элен. У неё очень расстроенный голос.

Мона пишет с таким нажимом, что фломастер скрипит по бумаге.

По-прежнему не отрываясь от гримуара, Элен говорит:

— Она исчезла. Какие проблемы?

Женщина в телефоне говорит, что такое происходит каждую ночь.

— Пусть позовут священника, чтобы он изгнал бесов, — говорит Элен. Она подносит очередную страницу к свету и говорит: — Скажи ей, что меня нет.

Мона не пишет, а рисует картинку. На картинке — мужчина и женщина, поражённые молнией. Потом — те же мужчина и женщина, размазанные под гусеницами танка. Потом — те же мужчина и женщина, истекающие кровью через глаза. Мозги текут у них из ушей. На женщине — облегающий костюм и много-много украшений. У мужчины синий галстук.

Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

Мона вырывает листок с рисунком и рвёт его на тонкие полоски.

Мобильный снова звонит, и я опять отвечаю.

Прижимая трубку к груди, я говорю Элен, что это какой-то парень. Говорит, у него из душа вместо воды хлещет кровь.

Держа гримуар на свету, Элен говорит:

— Дом на шесть спален на Пендер-корт.

И Мона говорит:

— На Пенден-плейс. На Пендер-корт — отрубленная рука, которая вылезает из мусорного бака. — Она чуть-чуть приоткрывает окно и суёт в щёлку обрывки рисунка. Обрывки мужчины и женщины.

— Нет, отрубленная рука — на Палм-корнерс, — говорит Элен. — А на Пендер-плейс — кусачий призрачный доберман.

Я говорю в телефон, чтобы мужчина на том конце линии не вешал трубку, и нажимаю на кнопку HOLD.

Мона закатывает глаза и говорит:

— Кусачий призрак — в испанском особняке на Милстон-бульвар. — Она что-то пишет у себя в книге красным фломастером, начиная от центра страницы и раскручивая слова по спирали к краям.

Я считаю — девять, считаю — десять, считаю — одиннадцать...

Элен щурится на страницу, которую прижимает к стеклу. Она говорит:

— Скажи им, что я уехала по делам. — Проводя пальцем под

бледными строчками, она говорит: — В той семье, которая на Пендер-корт, у них дети-подростки, правильно?

Я спрашиваю у мужчины в трубке, и он отвечает: да.

Элен оборачивается к Моне как раз в тот момент, когда Мона кидает ей в волосы очередную скатанную козюлю, и говорит:

— Скажи ему, что кровь из душа — это самая мелкая из его проблем.

Я говорю: может быть, просто поедem дальше? Мы могли бы объехать ещё несколько библиотек. Увидеть что-нибудь интересное. Какой-нибудь памятник архитектуры. Или живописный пейзаж. Может, ещё раз сходить в луна-парк. Мы вполне можем слегка расслабиться и доставить себе удовольствие. Когда-то мы были семьёй, и мы опять можем стать семьёй. Мы по-прежнему любим друг друга. Разумеется, гипотетически. Я говорю: как вам моё предложение?

Мона подаётся вперёд и вырывает у меня клочок волос. Потом вырывает несколько тонких прядей у Элен.

Элен наклоняется над гримуаром и говорит:

— Мона, мне больно.

У нас в семье, говорю я, мама, папа и я — в общем, у нас в семье мы решали почти все споры за партией в парчис^[1].

Мона вырывает страницу с красной спиральной надписью и заворачивает в неё каштановую и розовую пряди.

И я говорю Моне, что не хочу, чтобы она повторила мою ошибку. Глядя на неё в зеркало заднего вида, я говорю, что, когда мне было примерно столько же, сколько ей сейчас, я перестал разговаривать со своими родителями. Я не разговаривал с ними почти двадцать лет.

Мона протыкает английской булавкой листок, в который завернуты наши волосы.

Мобильный Элен звонит снова. Это какой-то мужчина. Молодой человек.

Это Устрица. И прежде чем я успеваю повесить трубку, он говорит:

— Привет, папаша, обязательно прочитайте завтрашние газеты. — Он говорит: — Там для вас небольшой сюрприз.

Он говорит:

— Передай трубку Шелковице, мне надо с ней поговорить.

Я говорю, что её зовут Мона. Мона Саббат.

— Мона Штейнер, — говорит Элен, по-прежнему глядя на свет на страницу, пытаясь прочесть тайные письма.

И Мона говорит:

— Это Устрица? — Она подаётся вперёд, тянет руку и пытается

вырвать у меня трубку. — Дай мне с ним поговорить. — Она кричит: — Устрица! Устрица, гримуар у них!

Отбиваясь от Моны и пытаясь рулить одной рукой — машина при этом виляет из стороны в сторону, — я выключаю телефон.

Глава тридцать шестая

У меня дома. Вместо влажного пятна на потолке — большая белая блямба. На входной двери пришпилена записка от квартирного хозяина. Вместо шума — полная тишина. Ковёр усыпан обломками твёрдого пластика, разломанными дверями и арматурой. Слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке.

Молоко в холодильнике скисло. Боль и страдания пропали всуе. Сыр посинел от плесени. Фарш посерел в упаковке. Яйца с виду нормальные, но на самом деле нет — прошло столько времени, они просто не могли не испортиться. Все усилия, все горести, вложенные в эти продукты, отправятся на помойку. Все страдания несчастных коров и телят — всё напрасно.

В записке от хозяина сказано, что белая блямба на потолке — это временное покрытие. Когда пятно перестанет сочиться влагой, тогда потолок покрасят уже нормально. Батареи выкручены на полную мощность, чтобы пятно поскорее просохло. Вода в бачке унитаза испарилась наполовину. Растения засохли. Из труб несёт гнилью. Моя прежняя жизнь, всё, что я называл своим домом, пахнет дерьмом.

Белая блямба замазки на потолке не даёт просочиться в квартиру тому, что осталось от моего соседа сверху.

Остаётся ещё тридцать девять неучтённых экземпляров книжки с баюльной песней. В библиотеках, в книжных магазинах, у кого-то дома.

Сегодня Элен — у себя в офисе. Там мы с ней и расстались. Когда я ухожу, она сидит за столом, обложившись словарями: латинским, греческим и санскритом. Сидит, промакивает страницы ваткой с раствором йода, и невидимые слова проступают красным.

Ваткой с соком красной капусты она промакивает другие невидимые слова, и они проступают малиновым.

Рядом с пузырьчками, ватными шариками и словарями стоит лампа странной конструкции. От лампы к розетке тянется шнур.

— Флюороскоп, — говорит Элен. — Взяла напрокат. — Она щёлкает выключателем сбоку, направляет свет на открытый гримуар и переворачивает страницы, пока на одной из них не проступают сияющие розовые слова. — Это написано спермой.

Все заклинания написаны разными почерками.

Мона сидит у себя за столом в приёмной. После луна-парка она не сказала нам ни единого доброго слова. Радиосканер выдаёт один чрезвычайный код за другим.

Элен кричит Моне:

— Как назвать демона другим словом?

И Мона отвечает:

— Элен Гувер Бойль.

Элен смотрит на меня и говорит:

— Видел сегодняшнюю газету? — Она отодвигает в сторону какие-то книги, и под ними лежит газета. На последней странице первой части — полностраничное объявление. Заголовок такой:

ВНИМАНИЕ, ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?

Большую часть страницы занимает фотография, моя старая свадебная фотография двадцатилетней давности, где мы сняты с Джиной. Как я понимаю, снимок взяли из нашего свадебного извещения в каком-то древнем субботнем выпуске. Наша публичная клятва в любви и верности друг другу. Наши обеты и обещания. Древняя сила слов. Пока смерть не разлучит нас.

Под снимком текст: «Этого человека разыскивает полиция в связи с необходимостью прояснить некоторые моменты, связанные с недавними загадочными смертями. Ему сорок лет, рост пять футов и десять дюймов, вес сто восемьдесят фунтов, шатен, глаза карие. Он не вооружён, но тем не менее очень опасен».

Человек на снимке — такой невинный и юный. Это не я. Женщина мертва. Они оба — призраки.

Дальше сказано: «Называет себя «Карлом Стрейтором». Часто носит синий галстук».

И в самом конце: «Если вы знаете местонахождение этого человека, звоните по номеру 911 и спрашивайте полицию». Я не знаю, кто дал объявление: Устрица или полиция.

Мы с Элен смотрим на снимок, и она говорит:

— Жена у тебя была очень красивая.

И я говорю: да, была.

Пальцы Элен, её жёлтый костюм, резной антикварный стол — всё в пятнах от йода и сока красной капусты. Пятна пахнут аммиаком и уксусом. Элен держит над книгой флюоресцентную лампу и читает светящиеся

письмена, написанные древней спермой.

— Тут у меня заклинание полёта, — говорит она. — А это, наверное, приворот на любовь. — Она листает страницы, которые пахнут аммиачной мочой и капустными газами. — Баюльные чары вот здесь. Древний язык зулу.

Мона в приёмной разговаривает по телефону.

Элен легонько отталкивает меня от стола. Она говорит:

— Смотри. — Она закрывает глаза и стоит, прижав кончики пальцев к вискам.

Я спрашиваю, что должно произойти.

Мона в приёмной заканчивает говорить и кладёт трубку.

Гримуар, раскрытый на столе, чуть-чуть сдвигается. Приподнимается сначала один уголок, потом — второй. Книга сама по себе закрывается, открывается снова, опять закрывается — всё быстрее и быстрее, и вдруг приподнимается над столом. Не открывая глаз, Элен беззвучно, одними губами, шепчет слова заклинания. Книга поднимается к потолку и висит там, шелестя страницами.

Радиосканер трещит и выдаёт:

— Подразделение семнадцать. — Он выдаёт: — Направляйтесь на Виден-авеню, 5680, офис фирмы «Элен Бойль. Продажа недвижимости». Задержите мужчину для следственного допроса...

Гримуар с грохотом падает на стол. Йод, аммиак, уксус, сок красной капусты разбрызганы по всей комнате. Бумаги и книги скользят на пол.

Элен кричит:

— Мона!

И я говорю: не убивай её, пожалуйста. Не убивай её.

Элен хватается за руку своей перепачканной рукой и говорит:

— Сейчас тебе лучше уйти. — Она говорит: — Помнишь, где мы с тобой встретились в первый раз? — Понизив голос, она говорит: — Встречаемся там же, сегодня в полночь.

У меня дома. Кассета на автоответчике кончилась. Счета так плотно набиты в почтовый ящик, что приходится их выковыривать ножом для масла.

На кухонном столе — торговый центр, недостроенный наполовину. Даже без коробки с картинкой можно понять, что это такое, из-за автомобильной стоянки рядом со зданием. Стены уже на месте. С одной стороны присутствуют окна и двери, в окнах вставлены стёкла. Крыша и кондиционеры ещё в коробке. Пластиковый пакет с деталями окружающего ландшафта ещё даже не вскрыт.

Сквозь стены — вообще ничего. Ни единого звука. Все соседи как будто вымерли. После стольких недель в дороге в компании Элен и Моны я успел позабыть, как это важно — молчание и тишина.

Включаю телевизор. Какая-то чёрно-белая комедия про человека, который умер и вернулся с того света в облике осла. Вроде как он должен кого-то чему-то там научить. Чтобы спасти свою душу. Душа человека в теле осла.

У меня библикает пейджер; полиция, мои спасители, насильно тащат меня к спасению.

Полиция или квартирный хозяин, это место явно находится под надзором.

По всему полу разбросаны раздавленные обломки лесопилки. Обломки железнодорожной станции в подтёках засохшей крови. Развороченная стоматологическая поликлиника. Смятый аэродром. Растоптанный речной вокзал. Окровавленные обломки всего, что я так тщательно собирал, хрустят у меня под ногами. Всё, что осталось от моей нормальной жизни.

Я выставляю часы на радио у кровати. Я сижу на полу по-турецки и сгребаю в кучу обломки заправочных станций и моргов, летних закусочных и испанских монастырей. Сгребаю в кучу кусочки, покрытые кровью и пылью, по радио играет какой-то свинг. По радио играет кельтский фолк, чёрный рэп и индийские ситары. На полу передо мной — куски санаториев и киностудий, зерновых элеваторов и нефтеперегонных заводов. По радио играет электронный транс, регги и вальс. Кусочки соборов, тюрем и армейских бараков — все в одной куче.

Я беру клей и тонкую кисточку и собираю вместе печные трубы и застеклённые крыши, купола и минареты. Римские акведуки переходят в пентхаусы в стиле арт-деко, переходят в опиумные притоны, переходят в салуны с Дикого Запада, переходят в американские горки, переходят в провинциальные библиотеки Карнеги, переходят в постоянные дворы, переходят в лекционные аудитории.

После стольких недель в дороге в компании Элен и Моны я успел позабыть, как это важно — законченность и безупречность.

У меня в компьютере — наброски к последней статье о смертях в колыбельке. Эта такая тема, о которой родители-бабушки-дедушки очень боятся читать и не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового тут не напишешь. Идея была в том, чтобы показать, как люди справляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди. Под таким вот углом.

Всё, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, — что в этом явлении нет никакой системы. Ребёнок может умереть у матери на руках.

Статья не закончена.

Лучший способ потратить жизнь зря — делать заметки. Лучший способ, как избежать настоящей жизни, — наблюдать со стороны. Присматриваться к деталям. Готовить репортаж. Ни в чём не участвовать. Пусть Большой Брат поёт и пляшет тебе на забаву. Будь репортёром. Наблюдательным очевидцем. Человеком из благодарной аудитории.

По радио вальс переходит в панк, переходит в рок, переходит в рэп, переходит в грегорианские песнопения, переходит в камерную музыку. По телевизору объясняют, как варить на пару лосося. Там объясняют, почему утонул «Бисмарк».

Я склеиваю эркеры и крестовые своды, цилиндрические своды и плоские арки, лестничные пролёты и витражные окна, листовую сталь, деревянные фронтоны и ионические пилястры.

По радио играют африканские барабаны и французский шансон, всё в одну кучу. На полу передо мной — китайские пагоды и мексиканские гасиенды, колониальные дома на Кейп-Код, всё вперемешку. В телевизоре гольфист загоняет мяч в лунку. Какая-то женщина выигрывает десять тысяч долларов — за то, что помнит первую строчку Геттисбергского послания^[2].

Я помню мой самый первый дом: четырёхэтажный особняк с мансардой и двумя лестницами, передней — для хозяев и чёрной — для прислуги. Там были стеклянные люстры с крошечными лампочками, присоединёнными в батарееке. Там был паркетный пол в столовой, который я вырезал и клеил полтора месяца. Там был сводчатый потолок в музыкальном салоне, который моя жена Джина расписала облаками и ангелами — засиживалась допоздна несколько вечеров подряд. Там был камин с огнём из цветного стекла, подсвеченного мигающей лампочкой. Мы расставили на столе крошечные тарелочки, и Джина порой засиживалась до утра — расписывала их по краю розами. Это были ночи только для нас двоих, без радио и телевизора, Катрин спала, они казались такими важными, эти ночи. Только для нас двоих — счастливых людей с той самой свадебной фотографии. Тот дом мы делали для Катрин, ей на день рождения — на два годика. Он должен был быть безупречным. Должен был стать доказательством наших талантов. Шедевром, который нас переживёт.

Запах клея, запах апельсинов с бензином смешивается с запахом дерьма. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев, на пальцы

налипли фигурные окна, балконы и кондиционеры. Рубашка облеплена турникетами, эскалаторами и деревьями. Я делаю радио громче.

Весь труд, вся любовь, все усилия и время, вся моя жизнь — всё впустую. Я сам уничтожил всё, что хотел, чтобы меня пережило.

В тот вечер, когда я вернулся домой с работы и обнаружил их мёртвыми, я оставил еду в холодильнике. Оставил одежду в шкафах. В тот вечер, когда я вернулся домой с работы и понял, что я наделал... это был первый дом, который я растоптал. Наследство без наследника. Крошечные люстры, стеклянный огонь и расписанные тарелки. Они застряли у меня в подошвах, и вся дорога до аэропорта была усеяна дверцами, полками, стульями и окошками и полита кровью. Такой за мной протянулся след.

А дальше мой след обрывался.

Я сижу на полу, и у меня уже не хватает деталей. Все стены, перила и крыши собраны. А то, что стоит передо мной, представляет собой полную неразбериху. В ней нет безупречности и завершённости, но это — то, что я сделал со своей жизнью. Правильно это, неправильно — я не знаю. Генерального плана не существует.

Можно только надеяться, что система всё-таки проявится, но она проявляется далеко не всегда.

Если есть план, ты получаешь лишь то, что способен вообразить. Я же всегда надеялся на что-то большее.

По радио — громкие ноты французских рожков, стук телетайпа, диктор сообщает о смерти очередной манекенщицы. В телевизоре — её фотография. На снимке она улыбается. очередной бойфренд арестован по подозрению в убийстве. Вскрытие вновь показало признаки сексуального контакта, произведённого после смерти.

У меня снова библикает пейджер. Номер моего очередного спасителя.

Я беру телефонную трубку липкой рукой, облепленной ставнями и дверями. Пальцем, облепленным водопроводными трубами, набираю номер, который я не могу забыть.

Трубку берёт мужчина.

И я говорю: папа. Я говорю: это я, папа.

Я говорю ему, где я живу. Говорю ему имя, которым сейчас называюсь. Говорю ему, где я работаю. Я говорю, что я всё понимаю, как это выглядит... Джина и Катрин мертвы, но я в этом не виноват. Я ничего не делал. Я просто сбежал.

Он говорит, что он знает. Он видел свадебную фотографию в сегодняшней газете. Он знает, кто я теперь.

Пару недель назад я проезжал мимо их дома. Я говорю, что я видел его

и маму, как они возились в саду. Я поставил машину чуть дальше по улице, под цветущим вишневым деревом. Моя машина — машина Элен — была вся покрыта розовыми лепестками. Я говорю, что они замечательно выглядят, они с мамой.

Я говорю, что я тоже по ним скучаю. Что я их тоже люблю. Я говорю, что со мной всё в порядке.

Я говорю, что не знаю, что делать. Но, говорю я, всё будет хорошо.

А потом я просто слушаю. Я жду, когда он перестанет плакать, чтобы сказать, что мне очень жаль.

Глава тридцать седьмая

Особняк Гартоллера в лунном свете. Дом в старинном английском стиле, восемь спален, четыре камина — всё пустое и белое. Каждый шаг отдаётся эхом по полированному паркету. Света нет, в доме темно. Нет ни мебели, ни ковров — в доме холодно.

— Здесь, — говорит Элен. — Можно сделать всё здесь, где нас никто не увидит. — Она щёлкает выключателем и зажигает свет.

Потолок поднимается ввысь, так высоко, что он мог бы быть небом. Свет от висячей люстры размером с хрустальный метеозонд, свет превращает высокие окна в зеркала. Свет швыряет наши тени на деревянный пол. Это тот самый балльный зал площадью в полторы тысячи квадратных футов.

У меня больше нет работы. Меня ищет полиция. У меня в квартире воняет. Мою фотографию напечатали в газете. День я провёл, прячась в кустах у входа в ожидании темноты. В ожидании Элен Гувер Бойль, которая скажет мне, что у неё на уме.

Она держит под мышкой гримуар. Страницы испачканы розовым и малиновым. Она открывает книгу и показывает мне заклинания, английский перевод записан чёрной ручкой под тарабарщиной оригинала.

— Произнеси его, — говорит она.

Заклинание?

— Прочитай его вслух, — говорит она.

И я спрашиваю: и что будет?

А Элен говорит:

— Только поосторожнее с люстрой.

Она начинает читать, ровно и монотонно, словно считает — словно это не слова, а цифры. Она начинает читать, и её сумочка, что висит у неё на плече, медленно поднимается вверх. Всё выше и выше. Вот уже ремешок натянулся, вот уже сумка парит у Элен над головой, как жёлтый воздушный шар.

Элен продолжает читать, и галстук поднимается у меня перед носом. Он поднимается, словно синяя змея из корзины, и задевает меня по носу. У Элен поднимается юбка, она хватается её за подол и придерживает одной рукой. Она продолжает читать, и мои шнурки пляшут в воздухе. Висячие серьги Элен, жемчуга и изумруды, бьют её по ушам. Жемчужное ожерелье колышется у неё перед глазами и поднимается над головой, словно

жемчужный нимб.

Элен смотрит на меня и продолжает читать.

У меня жмёт в подмышках — это поднимается куртка. Элен вдруг становится выше ростом. Теперь наши глаза — на одном уровне. И вот я уже смотрю на неё снизу вверх. Она парит в воздухе, приподнявшись над полом. С её ноги падает жёлтая туфля и шлёпается на паркет. Потом падает и вторая.

Элен продолжает читать, её голос ровный и монотонный. Она смотрит на меня сверху вниз и улыбается.

И вдруг я чувствую, что мои ноги оторвались от пола. То есть сначала — одна нога. Вторая чуть не подворачивается, и я бью ногами, как это бывает в глубоком бассейне, когда тебе надо нащупать дно, чтобы оттолкнуться и всплыть. Я выбрасываю руки вперёд. Я отталкиваюсь от пола, меня опрокидывает вперёд, и вот я лежу в воздухе лицом вниз и смотрю на паркетный пол с высоты в шесть футов, с высоты в восемь футов. Мы с моей тенью расходимся в разные стороны. Тень остаётся внизу, она всё меньше и меньше.

Элен говорит:

— Карл, осторожнее.

Что-то хрупкое и холодное обнимает меня. Острые кусочки чего-то шаткого и звенящего стекают по шее, путаются в волосах.

— Это люстра, Карл, — говорит Элен. — Осторожнее.

Моя задница утонула в хрустальных бусинах и подвесках, меня обвивает звенящий, подрагивающий осьминог. Холодные стеклянные ветви и поддельные свечи. Руки и ноги запутались в нитях хрустальных цепочек. Пыльные хрустальные грозди. Паутина и мёртвые пауки. Горячая лампочка жжётся даже сквозь рукав. Так высоко над полом. Я паникую и хватаюсь за стеклянную ветвь, и вся сияющая глыба раскачивается и звенит. Часть подвесок срывается вниз. А внутри всего — я.

И Элен говорит:

— Прекрати. Ты её сорвёшь.

И вот она уже рядом со мной, по ту сторону искрящейся хрустальной завесы. Её губы беззвучно движутся, вылепливая слова. Она раздвигает руками звенящие бусины, улыбается мне и говорит:

— Для начала мы тебя выпрямим.

Книга куда-то делась. Элен сдвигает хрусталь в одну сторону и подплывает ближе.

Я держусь за стеклянную ветвь обеими руками. С каждым биением сердца миллионы хрустальных кусочков подрагивают и звенят.

— Представь, что ты под водой, — говорит она и развязывает шнурки у меня на ботинке. Снимает с меня ботинок и роняет его на пол. Своими руками в жёлтых и красных подтёках она развязывает шнурки на втором ботинке, и первый ботинок ударяется о пол внизу. — Давай, — говорит она и суёт руки мне под мышки. — Сними куртку.

Она выбрасывает мою куртку из люстры. Потом — галстук. Сама снимает пиджак и роняет его на пол. Люстра сверкает вокруг миллионами крошечных хрустальных радуг. Сотни крошечных лампочек излучают тепло и запах горячей пыли. Всё дрожит и искрится, а мы с Элен — в самом центре.

Мы купаемся в тёплом свете.

Элен выговаривает свои беззвучные слова, и у меня ощущение, что сердце переполняется тёплой водой.

Серьги Элен, все её украшения сверкают ослепительными переливами. Слышен только хрустальный звон. Мы уже почти не раскачиваемся, и я отпускаю стеклянную ветку. Вокруг нас — миллионы мерцающих крошечных звёзд. Наверное, именно так себя чувствует Бог.

И это тоже — моя жизнь.

Я говорю, что мне надо где-то укрыться. От полиции. Домой возвращаться нельзя. Я не знаю, что делать.

Элен протягивает мне руку:

— На.

Я беру её руку. И она крепко держит меня. Мы целуемся. И это прекрасно.

И Элен говорит:

— Пока можешь остаться здесь. — Она проводит розовым ногтем по сияющему стеклянному шару, огранённому так, что он отражает свет по всем направлениям. Она говорит: — Теперь для нас нет ничего невозможного. — Она говорит: — Ничего.

Мы целуемся, и она елозит мне по ногам ногами, стягивая носки. Мы целуемся, и я расстёгиваю её блузку. Мои носки, её блузка, моя рубашка, её колготки. Кое-что из вещей падает на пол, кое-что остаётся висеть на люстре.

Моя раздувшаяся воспалённая нога, засохшая корка на ободранных коленках Элен — ничего друг от друга не спрячешь.

Прошло двадцать лет, и вот он я — делаю то, что даже и не мечтал сделать снова, — и я говорю: кажется, я влюбляюсь.

И Элен, такая гладкая и горячая посреди звенящего света, улыбается мне, запрыкидывает голову и говорит:

— Так и было задумано.

Я люблю её. Люблю. Элен Гувер Бойль.

Мои брюки и её юбка падают на пол, где уже разбросана другая одежда, и наши туфли, и хрустальные подвески. Куда упал и гримуар.

Глава тридцать восьмая

Дверь в офисе «Элен Бойль. Продажа недвижимости» заперта. Я стучу, и Мона кричит сквозь стекло:

— Мы закрыты.

А я кричу, что я не клиент.

Мона сидит за компьютером и что-то печатает. После каждых двух-трёх ударов по клавишам она поднимает глаза и смотрит на экран. На экране большими буквами набрано сверху страницы: «Резюме».

Радиосканер объявляет код девять-двенадцать.

Продолжая печатать, Мона говорит:

— Даже не знаю, почему я до сих пор не подала на вас заявление об оскорблении действием.

Я говорю: может быть, потому, что она хорошо к нам относится, ко мне и Элен.

И она говорит:

— Нет, не поэтому.

Может быть, потому, что ей нужен гримуар.

Мона молчит. Она разворачивается на стуле и приподнимает блузку. Кожа у неё на рёбрах вся в малиновых кровоподтёках.

Суровая любовь.

Элен кричит из своего кабинета:

— Какие синонимы к слову «замученный»?

Её стол весь заложен раскрытыми книгами. Под столом видно, что на ней разные туфли, одна — розовая, вторая — жёлтая.

Розовый шёлковый диван, резной стол времён Людовика XIV у Моны, журнальный столик с ножками в виде львиных лап — всё припорошено пылью. Цветы в букетах высохли и побурели, вода в вазах — чёрная и вонючая.

Радиосканер объявляет код три-одиннадцать.

Я говорю, что извиняюсь. Это было неправильно — так её хватать. Я задираю штанины и показываю синяки у себя на голеньях.

— Это другое, — говорит Мона. — Это была самозащита.

Я топаю ногой по полу и говорю, что нога уже лучше. Воспаление почти прошло. Я говорю ей спасибо.

И Элен говорит:

— Мона? Как покороче назвать человека, которого подвергали

пыткам? В одно слово?

Мона говорит:

— Когда ты будешь уходить, я выйду с тобой. Нам надо поговорить.

Элен у себя в кабинете зарылась в книгу. Это словарь древнееврейского языка. Рядом лежит учебник латинского. Под ним — исследование по арамейскому греческому. Тут же лежит страничка с баюльной песней. Мусорная корзина рядом со столом доверху заполнена бумажными чашечками из-под кофе.

Я говорю: привет.

Элен поднимает глаза. На её зелёном пиджаке, на лацкане — пятно от кофе. Рядом со словарём древнееврейского — открытый гримуар. Элен моргает, раз, второй, третий, и говорит:

— Мистер Стрейтор.

Я спрашиваю, не хочет ли она сходить куда-нибудь пообедать. Мне ещё предстоит разобраться с Джоном Нэшем. Я надеялся, что она даст мне какое-нибудь полезное заклинание. Например, чтобы стать невидимым. Или чтобы подчинить себе волю другого человека. Может быть, мне не придётся его убивать. Я зашёл посмотреть, что она переводит.

Элен закрывает гримуар чистым листом бумаги и говорит:

— Сегодня я занята. — Она ждёт, держа ручку в руке. Свободной рукой закрывает словарь. Она говорит: — А разве ты не скрываешься от полиции?

Я говорю: может быть, сходим в кино?

И она говорит:

— Только не в эти выходные.

Я говорю: может быть, я куплю билеты в консерваторию?

Элен машет рукой:

— Как хочешь.

Я говорю: замечательно. Стало быть, я приглашаю тебя на свидание.

Элен убирает ручку за ухо под взбитыми розовыми волосами. Открывает ещё одну книгу и кладёт её поверх древнееврейского словаря. Держа палец на словарной статье, она поднимает глаза и говорит:

— Я не к тому, что ты мне не нравишься. Просто сейчас у меня правда нет времени.

Из-под листочка, которым прикрыт гримуар, видно имя. В самом низу страницы, на сегодняшний день. Имя сегодняшней жертвы. Карл Стрейтор.

Элен закрывает гримуар и говорит:

— Ты понимаешь.

Радиосканер объявляет код семь-два.

Я спрашиваю, может быть, вечером она придёт ко мне в особняк Гартоллера. Стоя в дверях её кабинета, я говорю, что хочу снова быть с ней. Что она мне нужна.

А Элен улыбается и говорит:

— Так и было задумано.

В приёмной Мона хватает меня за руку. Берёт свою сумочку, вешает на плечо и кричит:

— Элен, я — обедать. — Мне она говорит: — Нам надо поговорить, но не здесь. — Она отпирает дверь, и мы выходим на улицу.

Мы стоим возле моей машины. Мона качает головой и говорит:

— Ты хоть понимаешь, что с тобой происходит?

Я влюблён. Так убейте меня.

— В Элен? — Мона щёлкает пальцами у меня перед носом и говорит: — Ты не влюблён. — Она вздыхает и говорит: — Ты, вообще, когда-нибудь слышал про любовные привороты?

Совершенно без всякой связи мне представляется Нэш, как он впендюрирует мёртвым женщинам.

— Элен нашла заклинание, чтобы тебя приворожить, — говорит Мона. — Она тебя подчинила. На самом деле ты её не любишь.

Правда?

Мона смотрит мне в глаза и говорит:

— Когда ты в последний раз думал о том, чтобы сжечь гримуар? — Она показывает на землю и говорит: — И это ты называешь любовью? Просто она нашла способ, чтобы тобой управлять.

Подъезжает машина. За рулём — Устрица. Он убирает волосы с глаз и просто сидит в машине, наблюдая за нами. Его светлые волосы растрёпаны и всклокочены. На обеих щеках — по два длинных горизонтальных разреза. Алые шрамы. Боевая раскраска.

У него звонит мобильный, и он берёт трубку:

— «Дональд, Домбра и Дурында», юридические услуги.

Большая борьба за власть.

Но я люблю Элен.

— Нет, — говорит Мона. Она смотрит на Устрицу. — Теперь просто кажется, что ты её любишь. Она тебя обманула.

Но это любовь.

— Я знаю Элен дольше тебя, — говорит Мона. Она смотрит на часы. — Это не любовь. Это красивые сладкие чары, но она тебя поработает.

Глава тридцать девятая

В Древней Греции люди считали, что мысли — это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что её ниспослали боги. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым.

Афина — что нужно влюбиться.

Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать.

Зажатый между радио, телевизором и колдовскими чарами Элен Гувер Бойль, я уже не понимаю, чего хочу по-настоящему. Я даже не знаю, доверяю ли я самому себе.

В ту ночь Элен отвозит меня на склад антиквариата — тот самый, где она искалечила столько мебели. Там темно, дверь заперта, но Элен кладёт руку поверх замка, произносит что-то короткое и рифмованное, и дверь открывается. Сигнализация не включается. Ничего. Тишина. Мы углубляемся в лабиринт древней мебели. С потолка свисают тёмные неподключенные люстры. Лунный свет проникает внутрь сквозь стеклянную крышу.

— Видишь, как просто, — говорит Элен. — Мы можем всё. Для нас теперь *нет ничего* невозможного.

Нет, уточняю я, это *она* может всё. Для *неё* теперь нет ничего невозможного.

Элен говорит:

— Ты меня всё ещё любишь?

Если ей этого хочется. Я не знаю. Если она говорит.

Элен смотрит на тёмные люстры под потолком, подвесные клетки из позолоты и хрусталя и говорит:

— Может, того... по-быстрому? Хочешь?

И я говорю: кажется, у меня нет выбора.

Я уже не понимаю разницы между тем, чего я хочу, и тем, чего меня выдрессировали хотеть.

Я не знаю, чего я хочу по-настоящему и чего меня заставляют хотеть.

Заставляют обманом.

Я говорю о свободе воли. Есть у нас эта свобода или Бог нам диктует по заданному сценарию всё, что мы делаем, говорим и хотим? Мы свободны в своих решениях или средства массовой информации и устоявшаяся культура контролируют наши желания и действия — начиная

буквально с рождения? Я свободен в своих устремлениях или я нахожусь под властью колдовских чар Элен?

Стоя перед ореховым шкафом эпохи Регентства с большими стеклянными дверцами, Элен проводит рукой по резному орнаменту и говорит:

— Давай будем бессмертными, ты и я.

Как эта мебель. В долгом странствии от жизни к жизни. А все, кто тебя любит, умирают у тебя на глазах. Вся эта мебель. Мы с Элен. Тараканы нашей культуры.

На стеклянной дверце — старая царапина от её бриллиантового кольца. Из тех времён, когда она ненавидела этот бессмертный мусор.

Представьте бессмертие, когда даже брак длиной в полвека покажется приключением на одну ночь. Представьте, как моды сменяют друг друга, стремительно — не уследишь. Представьте, что с каждым веком в мире становится всё больше и больше людей и в людях всё больше и больше отчаяния. Представьте, как вы меняете религии и работы, места жительства и диеты, пока они окончательно не утратят ценность. Представьте, как вы путешествуете по миру из года в год, пока не изучите его весь, каждый квадратный дюйм, и вам станет скучно. Представьте, как все ваши чувства — любви и ненависти, соперничества и победы — повторяются снова и снова и в конце концов жизнь превращается в бесконечную мыльную оперу. Всё повторяется снова и снова, пока рождения и смерти людей перестанут тревожить вас и волновать, как никого не волнуют увядшие цветы, которые выбрасывают на помойку.

Я говорю Элен, что, по-моему, мы уже бессмертны.

Она говорит:

— У меня есть сила. — Она открывает сумочку, достаёт сложенный листок бумаги, встряхивает его, чтобы развернуть, и говорит: — Знаешь, как гадают с помощью зеркала?

Я не знаю, что я знаю, а чего не знаю. Я не знаю, что правда, а что неправда. Наверное, я не знаю вообще ничего. Я говорю ей: расскажи.

Элен снимает с шеи шёлковый шарф и протирает пыльную поверхность зеркала. Ореховый шкаф эпохи Регентства с резными украшениями из оливкового дерева и позолоченной фурнитурой времён Второй империи, согласно надписи на картонной карточке. Элен говорит:

— Ведьмы льют масло на зеркало и говорят заклинание, и в зеркале видно будущее.

Будущее, говорю я. Замечательно. Костёр кровельный. Пуэрария. Речной окунь.

Сейчас я не уверен, что смогу разобрать настоящее.

Элен читает по листку бумаги. Ровным и монотонным голосом, так же, как она читала заклинание, чтобы летать. Всего несколько строк. Она опускает листок и говорит:

— Зеркало, зеркало, покажи нам, что с нами будет, если мы будем любить друг друга и воспользуемся нашей новой силой.

Её новой силой.

— Со слов «зеркало, зеркало» я сама придумала, — говорит Элен. Она берёт меня за руку и сжимает, но я не отвечаю на её пожатие. Она говорит: — Я попробовала ещё в офисе, с зеркальцем в пудренице, но это всё равно что смотреть телевизор через микроскоп.

Наши отражения в зеркале тускнеют и расплываются, сливаются в одно. В зеркале расплывается ровная серая дымка.

— Покажи нам, — говорит Элен, — покажи наше будущее вместе.

В сером мареве проступают фигуры. Свет и тени сплетаются вместе.

— Видишь, — говорит она. — Вот мы с тобой. Мы снова молоды. Я могу вернуть нам молодость. Ты такой же, как на фотографии в газете. На свадебной фотографии.

Всё такое смутное, расплывчатое. Я не знаю, что я там вижу.

— Смотри, — говорит Элен. Она указывает подбородком на зеркало. — Мы правим миром. Мы основываем династию.

Нам всё равно всего мало, мне вспоминаются слова Устрицы.

Власть, деньги, любовь, вдоволь еды и секса. Бывает так, чтобы когда-нибудь остановиться, или нам всегда этого мало? И чем больше мы получаем, тем больше хочется?

В зыбком тумане будущего я не различаю вообще ничего. Не вижу вообще ничего, кроме продолжения прошлого. Ещё больше проблем, ещё больше людей. Меньше биозахвата. Но больше страдания.

— Я вижу нас вместе, — говорит Элен. — Навсегда.

Я говорю: если тебе этого хочется.

И она говорит:

— Что это значит?

И я говорю: всё, что тебе самой хочется, то и значит. Это ты у нас водишь марионетки за ниточки. Ты сажаешь семена будущих всходов. Ты меня колонизируешь. Оккупируешь. СМИ, наша культура — всё откладывает яйца у меня под кожей. Большой Брат наполняет меня желанием удовлетворять потребности.

Нужен ли мне большой дом, быстрый автомобиль, тысяча безотказных красоток для секса? Мне действительно всё это нужно? Или меня так

натаскали?

Всё это действительно лучше того, что у меня уже есть? Или меня просто так выдрессировали, чтобы мне было мало того, что у меня уже есть, чтобы это меня не устраивало? Может, я просто под властью чар, которые заставляют меня поверить, что человеку всегда всего мало?

Серое марево в зеркале зыбится и клубится. Это может быть что угодно. Не важно, что ждёт меня в будущем — всё равно оно меня разочарует.

Элен берёт меня за другую руку. Она держит меня за руки и разворачивает лицом к себе. Она говорит:

— Посмотри на меня. — Она говорит: — Тебе Мона что-нибудь говорила?

Я говорю: ты любишь только себя. А я не хочу, чтобы меня использовали. Мной и так уже пользовались достаточно.

Люстры под потолком тускло поблёскивают серебром в лунном свете.

— Что она тебе наговорила? — спрашивает Элен.

Я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

— Не делай этого, — говорит Элен. — Я люблю тебя. — Она сжимает мне руки и говорит: — Не отгораживайся от меня.

Я считаю — четыре, считаю — пять, считаю — шесть...

— Ты в точности как мой муж, — говорит она. — Я просто хочу, чтобы ты был счастлив.

Это легко, говорю я ей. Просто заколдуй меня «на счастье».

Элен говорит:

— Нет такого заклинания, на счастье. — Она говорит: — Для этого есть наркотики.

Я не хочу, чтобы мир стал хуже. Я не хочу его портить. Я просто хочу разобрать тот бардак, который мы уже сотворили. Перенаселённость. Загрязнение окружающей среды. Баюльные чары. Та же магия, которая сломала мне жизнь, теперь должна её исправить. По идее.

— И мы это можем, — говорит Элен. — У нас есть нужные заклинания.

Заклинания, чтобы исправить вред от заклинаний, исправляющих вред от других заклинаний, а жизнь становится всё хуже и хуже. Мы даже представить себе не можем, насколько хуже. Вот оно — будущее, которое я вижу в зеркале.

Мистер Юджин Скиффелин со своими скворцами, Спенсер Бэйрд со своими карпами, история знает немало примеров, когда хорошие люди пытались исправить несовершенный мир, но делали только хуже.

Я хочу сжечь гримуар.

Я пересказываю Элен, что мне сказала Мона. Что она наложила на меня заклятие, чтобы сделать меня своим бессмертным рабом-любовником на целую вечность.

— Мона тебе солгала, — говорит Элен.

Но откуда мне знать? Кому верить?

Серое марево в зеркале, будущее — может, оно для меня не ясно, потому что сейчас для меня вообще ничего не ясно.

Элен отпускает мои руки. Она разводит руками, как бы обнимая шкафы эпохи Регентства, столы времён Гражданской войны и вешалки в стиле итальянского ренессанса, и говорит:

— Но если реальность — это всего лишь чары, наваждение, если на самом деле ты вовсе не хочешь того, что, как тебе кажется, тебе хочется... — Она подходит ко мне вплотную и говорит: — Если у тебя нет свободы воли. Если ты даже *не знаешь*, что ты знаешь, а чего не знаешь. Если на самом деле ты *не любишь* того, кого, тебе *только кажется*, что любишь. Тогда что остаётся, ради чего стоит жить?

Ничего.

Есть просто мы — посреди всей этой мебели.

Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине, где тебя ждут жена и ребёнок.

И я говорю: пожалуйста. Я прошу у неё телефон.

В зеркале по-прежнему переливается серое марево. Элен открывает сумочку, достаёт свой мобильный и протягивает его мне.

Я открываю крышечку и набираю 9-1-1.

Женский голос на том конце линии:

— Полиция, пожарная охрана или «Скорая помощь»?

Я говорю: «Скорая помощь».

— Где вы находитесь? — говорит голос в трубке.

Я называю ей адрес бара, где мы встречались с Нэшем; бара рядом с больницей.

— Причина вызова?

Сорок танцорок из группы поддержки спортивной команды получили тепловой удар. Женской волейбольной команде срочно требуется искусственное дыхание по методу «рот в рот». Группе манекенщиц необходимо пройти обследование груди. Я говорю, что если они найдут полицейского врача по имени Джон Нэш, то пусть он немедленно выезжает. Если они не найдут Нэша, тогда не стоит беспокоиться.

Элен забирает у меня телефон. Она смотрит на меня, моргает — раз,

второй, третий — и говорит:

— Что ты задумал?

Всё, мне остаётся, может быть, единственный способ обрести свободу — сделать то, чего мне не хочется сделать. Остановить Нэша. Пойти в полицию и сознаться. Принять наказание.

Взбунтоваться против себя. Вот что мне нужно.

Противоположность погоне за счастьем. Мне нужно сделать что-то такое, чего я больше всего боюсь.

Глава сороковая

Нэш ест чили. Он сидит за самым дальним столиком в баре на Третьей авеню. Бармен лежит вниз лицом на стойке, его руки ещё покачиваются над высокими табуретами. Двое мужчин и две женщины лежат вниз лицом на столе в кабинке. Их сигареты ещё дымятся в пепельницах, они сгорели только наполовину. Ещё один мужчина лежит в дверях туалета. Ещё один мёртвый мужчина растянулся на бильярдном столе, кий так и остался у него в руках. За баром кухня, там включено радио, но в динамике — одни помехи. Кто-то в грязном, заляпанном жиром переднике лежит лицом вниз на гриле среди гамбургеров, гриль потрескивает и дымится. Жирный сладковатый дым поднимается к потолку от лица мёртвого повара.

Свеча на столе у Нэша — единственный свет в помещении.

Нэш поднимает глаза. Его губы испачканы красным чили. Он говорит: — Я подумал, что тебе захочется поговорить спокойно. Чтобы нам никто не мешал.

Он в своей белой форме. Мёртвый мужчина рядом — в точно такой же форме.

— Мой партнёр, — говорит Нэш, кивая на тело. Когда он кивает, его хвостик, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка, слегка подрагивает. Вся грудь его белой рубашки заляпана красным чили. Нэш говорит: — Давно уже собирался его ублажить.

У меня за спиной открывается дверь, и в бар входит мужчина. Он останавливается на пороге и обводит глазами зал. Машет рукой, разгоняя дым, и говорит:

— Какого хрена?

Дверь захлопывается за ним.

Нэш наклоняет голову и лезет пальцами в нагрудный карман. Достает белую картонную карточку в жёлтых и красных пятнах от соусов и читает баюльную песню вслух, ровно и монотонно, словно считает — словно это не слова, а цифры. Точно так же, как Элен.

Человек в дверях замирает и закатывает глаза, так что видны только белки. Его ноги подкашиваются, и он падает набок.

Я просто стою и смотрю.

Нэш убирает карточку обратно в карман и говорит:

— Ну вот.

И я говорю: где ты нашёл стихотворение?

И Нэш говорит:

— Догадайся. — Он говорит: — В единственном месте, где ты не сможешь её уничтожить.

Он берёт со стола бутылку пива и тычет горлышком в мою сторону.

Он говорит:

— Подумай. — Он говорит: — Подумай как следует.

Книга «*Стихи и потешки со всего света*» всегда будет там. Доступна всем, для всеобщего пользования. Лежит буквально на глазах. Только в одном месте, говорит он. И оттуда её не забрать.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается костёр кровельный. И речные мидии. И Устрица.

Нэш отпивает пива, ставит бутылку на стол и говорит:

— Подумай как следует.

Я говорю: манекенщицы, все эти убийства... Я говорю: то, что он делает, это неправильно.

И Нэш говорит:

— Ты сдаёшься?

Он должен понять, что секс с мёртвыми женщинами — это неправильно.

Нэш берёт ложку и говорит:

— В старой доброй библиотеке Конгресса. Которая — на деньги налогоплательщиков.

Чёрт.

Он окунает ложку в миску с чили. Подносит ложку ко рту и говорит:

— Только не надо читать мне лекцию на тему: некрофилия — как это плохо. — Он говорит: — А то получится из серии «чья бы корова мычала». — Нэш говорит с полным ртом чили: — Я знаю, кто ты.

Он глотает и говорит:

— Тебя всё ещё разыскивают для дознания.

Он облизывает губы, испачканные в красном чили, и говорит:

— Я видел свидетельство о смерти твоей жены. — Он улыбается и говорит: — Признаки сексуального контакта, произведённого после смерти?

Нэш указывает на пустой стул, и я сажусь.

Он подаётся вперёд, ложась грудью на стол, и говорит:

— И это был лучший секс в твоей жизни. И не говори мне, что нет.

И я говорю: заткнись.

— Ты не сможешь меня убить, — говорит Нэш. Он крошит сухарики в миску с чили и говорит: — Мы с тобой очень похожи.

Я говорю: в моём случае это — другое. Она была мне женой.

— Жена или нет, — говорит Нэш, — но мёртвая есть мёртвая. Как ни крути, это некрофилия.

Нэш зачерпывает ложкой сухарики в чили и говорит:

— Убить меня — для тебя это равносильно самоубийству.

Я говорю: заткнись.

— Расслабься, — говорит он. — Я никому ничего не рассказывал. — Он хрустит сухариками в чили. — Это было бы глупо. — Он говорит: — Сам подумай. — Он отправляет в рот очередную ложку чили. — Мне невыгодно, чтобы кто-то ещё узнал. Мне не нужна конкуренция.

Несовершенный, безнравственный — вот мир, в котором я живу. Так далеко от Бога — вот люди, с которыми я остался. Все хотят власти. Мона и Элен, Нэш и Устрица. Те немногие, кто меня знает, — все меня ненавидят. Мы все ненавидим друг друга. Мы все друг друга боимся. Весь мир — мне враг.

— Мы с тобой, — говорит Нэш, — нам нельзя доверять никому.

Добро пожаловать в ад.

Если Мона права, если прав Карл Маркс, которого она цитировала, то убить Нэша означает его спасти. Вернуть его к Богу. Вернуть его к человечеству, искупив его грехи.

Наши взгляды встречаются, и губы Нэша вылепливают слова. Его дыхание пахнет чили.

Он читает баюльную песню. Каждое слово — с нажимом, словно надрывный собачий лай. Каждое слово — с нажимом, так что чили пузырится у него на губах. Летят капельки красной слюны. Он умолкает и лезет в нагрудный карман. Чтобы достать карточку. Он вынимает её двумя пальцами и читает уже по карточке. Карточка вся заляпана соусом, так что он вытирает её о скатерть и читает по новой.

Слова звучат мощно и сильно. Это звук смертного приговора.

Мой взор мутнеет, мир расплывается серыми пятнами. Все мышцы вдруг обмякают. Глаза закатываются, колени подгибаются сами собой.

Значит, вот как это — умирать. Чтобы спастись.

Но убийство — это уже рефлекс. Это — мой способ решать все проблемы.

Колени подгибаются, и я падаю на пол. Ударяюсь сначала задницей, потом — спиной, а потом — головой.

Всё происходит само собой. Непроизвольно, как отрывка, как чих, как зевок. Баюльная песня звучит у меня в голове. Пороховая бочка с дерьмом, которое я до сих пор не разгрёб, — она всегда при мне.

Расплывчатый серый мир вновь обретает чёткость. Я лежу на спине на полу и смотрю на жирный серый дым, клубящийся под потолком. Слышно, как трещит кожа мёртвого повара, поджариваясь на гриле.

Нэш роняет карточку на стол. У него закатываются глаза. Плечи вдруг опускаются, и он падает вниз лицом — прямо в миску с чили. Красный соус выплёскивается на скатерть. Его тело медленно валится набок, и он падает на пол рядом со мной. Его глаза широко открыты — смотрят мне прямо в глаза. Его лицо всё измазано в чили. Его хвостик, который торчал на макушке, как чахлая пальмочка, растрепался, и волосы упали ему на лицо.

Он спасён, но я — нет.

Серый дым обволакивает меня, гриль шипит и шкварчит. Я поднимаю с пола карточку Нэша и подношу её к пламени свечи на столе. Дым — к дыму. Я просто смотрю, как она горит.

Включается сирена, пожарная сигнализация. Сирена такая громкая, что я не слышу собственных мыслей. Как будто они вообще есть — мысли. Как будто я могу думать. Вой сирены распирает меня изнутри. Большой Брат. Он занимает мой разум, как армия — павший город. Пока я сижу — жду полицию, которая меня спасёт. Вернёт меня к Богу и воссоединит с человечеством. Вой сирены заглушает всё. И я этому рад.

Глава сорок первая

Уже после того как полицейские зачитали мне мои права. После того как на меня надели наручники и привезли в участок. После того как в бар вошёл первый патрульный, увидел тела и сказал: «Господи Иисусе». После того как полицейские врачи сняли мёртвого повара с гриля, увидели его сожжённое лицо и проблевались прямо себе в ладони. После того как мне разрешили сделать один звонок, и я позвонил Элен и сказал, что мне очень жаль, но вот оно и случилось. Я арестован. И Элен сказала:

— Не волнуйся. Я тебя вытащу.

После того как у меня взяли отпечатки пальцев и сфотографировали меня анфас и в профиль. После того как у меня отобрали бумажник, ключи и часы. Мою одежду, мою спортивную куртку и синий галстук сложили в пластиковый пакет, надписанный не именем, а моим новым криминальным номером. После того как меня — голого — провели по холодному коридору из шлакобетонных блоков в холодную бетонную комнату. После того как меня оставили наедине с деловитым пожилым офицером — дородным и крепким, с руками размером с бейсбольные рукавицы. В комнате, где только стол, мешок с моей одеждой и большая банка с вазелином.

После того как меня оставили наедине с этим седым старым буйволом, он надевает хирургическую перчатку и говорит:

— Пожалуйста, повернитесь лицом к стене, наклонитесь вперёд и раздвиньте руками ягодицы.

Я говорю: что?!

И этот хмурый гигант опускает два пальца в перчатке в банку с вазелином и говорит:

— Обыск на теле. — Он говорит: — Пожалуйста, повернитесь.

И я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

И поворачиваюсь к стене. И наклоняюсь вперёд. Хватаюсь руками за ягодицы и раздвигаю их.

И считаю — четыре, считаю — пять, считаю — шесть...

Я со своей неудачной убогой этикой. Как и Вальтруда Вагнер, как Джеффри Дамер и Тед Банди, я — серийный убийца, и так начинается моё наказание. Доказательство свободы воли. Моя дорога к спасению.

Голос у копа прокуранный, хриплый. Он говорит:

— Стандартная процедура для всех задержанных, считающихся опасными.

Я считаю — семь, я считаю — восемь, считаю — девять...

И коп говорит:

— Будет не больно, но неприятно. Так что расслабьтесь.

Я считаю — десять, считаю — одиннадцать, считаю...

И чёрт.

Чёрт!

— Расслабьтесь, — говорит коп.

Чёрт. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Чёрт!

Больно. Больнее, чем когда Мона ковырялась у меня в ноге раскалённым пинцетом. Больнее, чем медицинский спирт, смывающий с ноги кровь. Я впиваюсь ногтями себе в ягодицы и сжимаю зубы, по ногам течёт пот. Пот стекает со лба и капает на пол с кончика носа. У меня перехватывает дыхание. Капли пота падают на пол у меня между ног. Ноги расставлены широко.

Что-то твёрдое и огромное вонзается ещё глубже в меня, и коп говорит своим жутким голосом:

— Давай, приятель, расслабься.

Я считаю — двенадцать, считаю — тринадцать...

Шевеление у меня внутри прекращается. То самое твёрдое и огромное медленно вынимается, почти до конца. Но потом снова вонзается глубоко-глубоко. Медленно, как часовая стрелка на циферблате, а потом всё быстрее. Смазанные вазелином пальцы входят в меня, почти вынимаются, снова входят.

И прямо мне в ухо коп говорит своим хриплым голосом:

— Эй, приятель... может, того... по-быстрому?

Спазм сотрясает всё тело.

А коп говорит:

— Ух ты, как мы все сжались-то.

Я говорю: офицер. Пожалуйста. Вы не понимаете. Я могу вас убить. Пожалуйста, не надо.

А коп говорит:

— Дай мне вытащить пальцы, и я сниму с тебя наручники. Это я, Элен.

Элен?

— Элен Гувер Бойль? Не забыл ещё? — говорит коп. — Позавчера ночью ты мне почти так же вставлял внутри люстры.

Элен?

Это самое твёрдое и огромное по-прежнему копошится у меня внутри.

И коп говорит:

— Называется «*закливание временного захвата*». Я его только что перевела, буквально пару часов назад. Сам офицер тоже здесь, но глубоко в подсознании. А телом управляю я.

Мне в голую задницу упирается холодный и твёрдый ботинок, и огромные твёрдые пальцы рывком выходят из меня. На полу у меня между ног — лужица пота. Я выпрямляюсь, по-прежнему сжимая зубы.

Офицер смотрит на свои пальцы и говорит:

— Я уже испугалась, что они так и останутся в том интересном месте. — Он нюхает пальцы и морщится.

Замечательно, говорю я. Я стараюсь дышать глубоко; глаза закрыты. Сначала она управляла мной, а теперь я ещё должен переживать за то, что она управляет другими. Делать мне больше нечего.

И коп говорит:

— Последние пару часов я была в теле Моны. Просто чтобы проверить, как действует закливание, и чтобы сравнить счёт за то, что она тебя напугала, я её чуточку реконструировала. В смысле внешности.

Коп хватается себя за яйца.

— Поразительно. Я тут так с тобой возбуждалась, что у меня эрекция. — Он говорит: — Я, конечно, не женофоб, но я всегда мечтала о том, чтобы у меня был пенис.

Я говорю: замолчи, не хочу это слушать.

И Элен говорит, ртом старого копа она говорит:

— Я думаю, что посажу тебя в такси, а сама задержусь в теле этого дядьки и кого-нибудь трахну. Ради нового опыта.

И я говорю: если ты думаешь, что таким образом сможешь заставить меня полюбить тебя, то ты глубоко ошибаешься.

По щеке копа стекает слеза.

Я стою перед ней голый и говорю: я тебя не хочу. Я тебе не доверяю.

— Ты не можешь меня любить, — говорит коп, говорит Элен его хриплым прокуренным голосом, — потому что я женщина и у меня больше власти.

И я говорю: Элен, еб твою мать. Уходи. Чтобы я тебя больше не видел. Ты мне не нужна. Я хочу заплатить за свои преступления. Я устал портить мир просто ради того, чтобы оправдать своё мерзкое поведение.

Коп уже даже не плачет — рыдает в голос. В комнату входит ещё один коп. Этот — совсем ещё молодой. Он смотрит на старого копа, заливающегося слезами, потом — на меня, голого. Молоденький коп говорит:

— У вас всё нормально, Сержант?

— Всё замечательно, — говорит старый коп, вытирая глаза. — Мы тут славно проводим время. — Только теперь он замечает, что вытер глаза рукой в перчатке, теми самыми пальцами, которые побывали у меня в заднице; он кривится и сдирает перчатку. Его аж передёрнуло от омерзения. Он швыряет перчатку через всю комнату.

Я говорю молодому копу: мы тут просто беседуем.

А он суёт кулак мне под нос и говорит:

— А ты, бля, заткнись.

Старый коп, Сержант, присаживается на край стола и сжимает колени. Он шмыгает носом, сдерживая слёзы, запрокидывает голову, как это делается, когда надо отбросить с лица длинные волосы, и говорит:

— Слушай, если ты не возражаешь, нам бы очень хотелось остаться одним.

Я просто смотрю в потолок.

Молоденький коп говорит:

— Нет проблем, Сержант.

Сержант хватает бумажную салфетку и вытирает глаза.

И тут молоденький коп подлетает ко мне, хватая под подбородок и впечатывает меня в стену. Мои ноги и спина прижимаются к холодному бетону. Молоденький коп запрокидывает мне голову и сжимает горло. Он говорит:

— И не вздумай мне тут обижать Сержанта! — Он кричит мне в лицо: — Ты понял?

Сержант поднимает глаза и говорит со слабой улыбкой:

— Ага. Слушай, что тебе говорят. — Он шмыгает носом.

Молоденький коп отпускает меня. Он идёт к выходу и говорит:

— Я буду в соседней комнате, если вдруг... если вдруг что-то понадобится.

— Спасибо, — говорит Сержант. Он хватает второго копа за руку, крепко её пожимает и говорит: — Ты такой славный.

Молодой коп вырывает руку и быстро уходит.

Элен внутри этого человека. Чем-то похоже на ту заразу, которую телевидение впихивает нам в мозги. На то, как костёр кровельный вытесняет собой остальные растения. На привязчивую мелодию, которая звучит и звучит у тебя в голове. На дом с привидениями. На вирус гриппа. На то, как Большой Брат занимает твоё внимание.

Сержант, Элен, отрывается от стола. Расстёгивает кобуру и достаёт пистолет. Держа пистолет обеими руками, он целится в меня и говорит:

— Давай доставай свои шмотки и одевайся. — Сержант шмыгает

носом и пинает мне пластиковый пакет с одеждой. Он говорит: —
Одевайся, тебе говорят. Я пришла, чтобы тебя спасти.

Пистолет дрожит у него в руке, и Сержант говорит:

— Чем скорее ты выйдешь отсюда, тем скорее я освобожусь и пойду
всё-таки потрахаюсь.

Глава сорок вторая

Повсюду — слова смешиваются друг с другом. Слова, лирические монологи и диалоги — гремучая смесь, способная вызвать цепную реакцию. Может быть, форсмажорные обстоятельства — это просто правильная комбинация информационного мусора, выброшенного в эфир. Дурные слова сталкиваются друг с другом и вызывают землетрясение. Точно так же, как заклинатели дождя вызывают грозу, правильная комбинация слов может вызвать торнадо. Может быть, глобальное потепление вызвано критической массой рекламных роликов. Многочисленные телевизионные повторы вызывают разрушительные ураганы. Рак. СПИД.

В такси, по дороге к «Элен Бойль. Продажа недвижимости», я смотрю на газетные заголовки и объявления, написанные от руки. Листовки, приклеенные к телефонным столбам, смешиваются с макулатурной почтой. Песни уличных музыкантов смешиваются с песнями из музыкальных автоматов, смешиваются с воплями уличных продавцов, смешиваются с радио.

Мы живём в шаткой башне бессвязного бормотания. В зыбкой реальности слов. В биомассе, генетически запрограммированной на болезнь. Простой и естественный мир давно уничтожен. Нам остался лишь беспорядочный мир языка.

Большой Брат поёт и пляшет, а нам остаётся только смотреть и слушать. Палки и камни могут и покалечить, но наша роль — быть хорошими зрителями. Внимательно слушать, смотреть и ждать новой болезни.

Мне неудобно сидеть в такси. Ощущение такое, что задница до сих пор жирная и растянутая.

Осталось найти ещё тридцать три экземпляра книги с баюльной песней. Нужно пойти в библиотеку Конгресса. Нужно закончить начатое и сделать так, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

Нужно предостеречь людей. Моя прежняя жизнь закончилась. Вот — моя новая жизнь.

Такси подъезжает к зданию. Мона стоит на крыльце у входа и запирает дверь ключом из большой связки. Это может быть и Элен. Её красно-чёрные дреды распущены, волосы зачёсаны назад и взбиты в высокую причёску. На ней — коричневый костюм, но коричневый не как шоколад.

Скорее — как шоколадный трюфель с орехами, сервированный на атласной салфетке в ресторане дорогого отеля.

У ног Моны — картонная коробка. Сверху на коробке — какая-то книга в красном переплёте. Гримуар.

Я иду через стоянку, Мона видит меня и кричит:

— Элен здесь нет.

По радиосканеру передавали о баре на Третьей авеню, говорит Мона. Что там все мертвы, а я арестован. Она ставит коробку в багажник своей машины и говорит:

— Ты буквально на пару минут опоздал. Миссис Бойль только что убежала в слезах.

Сержант.

Машины Элен на стоянке нет.

Мона смотрит на свои коричневые туфли на шпильках, на свой облегающий пиджак с подкладными плечами — кукольная одежда с огромными пуговицами из топазов, — на свою мини-юбку и говорит:

— И не спрашивай, как это случилось. — Она протягивает мне руки. Её обычно чёрные ногти теперь покрашены ярко-розовым лаком с белыми кончиками. Она говорит: — Пожалуйста, передай миссис Бойль, что мне не нравится, когда моё тело берут без спроса и творят над ним всякие гадости. — Она указывает на свою взбитую причёску, щёки, подкрашенные румянами, и розовую помаду. — Это равносильно стилистическому изнасилованию.

Мона захлопывает багажник, надавив на него рукой с розовыми ногтями.

Она показывает на мою рубашку и говорит:

— Разборка с другом была кровавой?

Я говорю: эти красные пятна — от чили.

Я говорю: гримуар. Я его видел. Красная человеческая кожа. Татуировка-пентаграмма.

— Она мне его отдала, — говорит Мона. Она открывает свою коричневую сумочку и запускает туда руку. Она говорит: — Сказала, что ей он больше не нужен. Как я уже говорила, она была очень расстроена. Она плакала.

Двумя пальцами с розовыми ногтями Мона выуживает из сумочки сложенный листок бумаги. Это страница из гримуара. Страница с моим именем. Мона даёт листок мне и говорит:

— Ты осторожнее. Как я понимаю, кому-то в каком-то правительстве очень хочется твоей смерти.

Мона говорит:

— Как я понимаю, приворотные чары Элен неожиданно привели к обратным результатам. — Она пошатывается на высоких шпильках и приваливается спиной к машине. Она говорит: — Хочешь — верь, хочешь — нет, но мы это делаем, чтобы тебя спасти.

На заднем сиденье лежит Устрица. Лежит неподвижно и тихо, вроде бы спит, но он слишком спокойный и совершенный для того, чтобы просто спать. Его длинные белые волосы разметались по всему сиденью. Его мешочек для талисманов по-прежнему висит у него на шее. Сейчас он открыт, и из него вываливается пачка сигарет. Красные шрамы у него на щеках — от ключей Элен.

Я спрашиваю: он что, мёртвый?

И Мона говорит:

— Не дождётесь. — Она говорит: — С ним всё в порядке. — Она садится за руль и заводит машину. Она говорит: — Тебе лучше поторопиться и разыскать Элен. Боюсь, она может сейчас совершить какой-нибудь отчаянный поступок.

Она захлопывает свою дверцу, и машина трогается с места.

Мона кричит мне, приоткрыв окно:

— Медицинский центр «Новый континуум». — Она кричит, выезжая со стоянки: — Надеюсь, ещё не поздно.

Глава сорок третья

Палата № 131 в Медицинском центре «Новый континуум». Пол переливается всеми цветами радуги. Линолеум хрустит у меня под ногами, когда я иду по осколкам красного и зелёного, жёлтого и голубого. Капельки красного. Бриллианты и рубины, изумруды и сапфиры. Тут же валяются туфли Элен. Одна — розовая, вторая — жёлтая. Каблуки-шпильки разбиты до состояния каши. Испорченные туфли — на полу в самом центре комнаты.

Элен стоит в дальнем конце комнаты, в тусклом мерцании, на самом краю круга света от настольной лампы. Стоит, склонившись над каким-то ящиком из нержавеющей стали. Её руки раскинуты и обнимают холодную сталь. Она прижимается щекой к крышке ящика.

У меня под ногами хрустят разноцветные камни, и Элен оборачивается на звук.

Её губы в розовой помаде испачканы кровью. На крышке ящика — отпечаток поцелуя, розовый с красным. В крышке — окошко из мутного серого стекла, а внутри лежит маленький человечек — слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать.

Патрик.

Узорная наледь по краю окошка уже начала подтаивать, и вода капает внутрь.

Элен говорит:

— Ты пришёл. — Её голос звучит невнятно и глухо. Тонкая струйка крови течёт из рта.

Я смотрю на неё, и у меня вдруг начинает болеть нога.

Со мной всё в порядке, говорю я.

И Элен говорит:

— Я за тебя рада.

Её косметичка лежит развороченная на полу. Среди разноцветных осколков — перепутанные цепочки, золотые и платиновые. Элен говорит:

— Я пыталась разбить самые крупные. — Она кашляет, прикрывая рот рукой. — Остальные я пыталась разгрызть. — Она опять кашляет. Её ладонь — вся в крови и в белых осколках.

Рядом с косметичкой — опрокинутая бутылка с жидкостью для прочистки труб. Под ней натекла зелёная лужа.

У неё переломаны все зубы. Многих недостаёт вообще. Она

прижимается лицом к серому стеклу. Стекло туманится от её дыхания. Она вытирает окровавленные руки о юбку.

— Я не хочу возвращаться к тому, как всё было раньше, — говорит она, — к той жизни, какая была у меня до того, как мы с тобой встретились. — Она всё вытирает и вытирает руки о юбку. — Даже со всей властью в мире.

Я говорю, что ей срочно нужно в больницу.

А Элен улыбается окровавленными губами и говорит:

— Мы и так в больнице.

Ничего личного, говорит Элен. Ей просто нужен был кто-то. Хоть кто-нибудь. Даже если она и сумеет воскресить Патрика, она не хочет ломать ему жизнь, разделив с ним баюльные чары. Даже если это означает, что она снова будет одна, ей не хочется, чтобы у Патрика была эта власть.

— Посмотри на него, — говорит она и прикасается к серому стеклу своими розовыми ногтями. — Он такой хороший.

Она сглатывает слюну вместе с кровью, обломками зубов и разбитыми бриллиантами. Её лицо кривится в кошмарной гримасе. Она хватается за живот и едва не ложится на стальной ящик с серым окошком. Кровь и вода от оттаявшей наледи текут внутрь.

Дрожащей рукой Элен открывает сумочку и достаёт тюбик помады. Она красит губы, и розовая помада становится красной.

Она говорит, что отключила криогенную установку. Отключила сигнализацию и резервную батарею. Она хочет умереть вместе с Патриком.

Она хочет, чтобы всё кончилось. Баюльные чары. Власть. Одиночество. Она хочет уничтожить все драгоценности, про которые люди думают, будто они их спасут. Все остатки бывшего величия, которые переживают красоту, ум и талант. Весь декоративный мусор, который остаётся, когда настоящие достижения и успех — всё обращается прахом. Она хочет уничтожить все красивые вещи — паразитов, которые переживают своих хозяев-людей.

Сумочка падает у неё из рук. Серый камушек выпадает из сумки и катится по полу. Совершенно безо всякой связи мне вспоминается Устрица.

Элен громко рыгает. Вынимает из сумки бумажную салфетку, держит её подо ртом и выплёвывает на неё сгустки крови, желчь и расколотые изумруды. У неё во рту застрявшие в окровавленных дёснах на месте зубов — осколки сапфиров и оранжевых бериллов. К нёбу прилипли кусочки красной шпинели. Язык весь в чёрной алмазной крошке.

Элен улыбается и говорит:

— Хочу быть вместе с моей семьёй. — Она скатывает окровавленную

салфетку в шарик и запихивает его под отворот манжета. Её серьги, её ожерелья и кольца — ничего больше нет.

Подробности о её костюме: он какого-то цвета. Это костюм. Он безнадёжно испорчен.

Она говорит:

— Пожалуйста. Обними меня.

В сером окошке — совершенный ребёнок лежит, свернувшись калачиком, на подушке из белого пластика. Держит пальчик во рту. Совершенный и бледный — как синий лёд.

Я обнимаю Элен, и она морщится.

У неё подкашиваются колени, и я опускаю её на пол. Элен Гувер Бойль закрывает глаза. Она говорит:

— Спасибо, мистер Стрейтор.

Я поднимаю её серый камень и бью им по холодному серому стеклу. Изрезанными в кровь руками я вынимаю Патрика, бледного и холодного, и кладу его, испачканного моей кровью, в руки Элен. Опускаюсь на пол рядом с ней и обнимаю её.

Моя кровь с её кровью — теперь смешались.

Лёжа в моих объятиях, Элен закрывает глаза и кладёт голову мне на колени. Она улыбается и говорит:

— Тебе не показалось, что это слишком уж странное совпадение, что Мона нашла гримуар?

Она открывает глаза, хитро щурится и говорит:

— Тебе не показалось, что это как-то уж слишком странно, что всё это время гримуар был у нас?

Элен лежит у меня в объятиях и качает Патрика на руках. И вот тут оно и происходит. Она поднимает руку и вдруг щипает меня за щёку. Смотрит на меня и улыбается одной половиной рта. Хитрая улыбка в крови и зелёной желчи. Она подмигивает и говорит:

— Попался, папаша!

За секунду я весь покрываюсь холодным потом.

Элен говорит:

— Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы убивать себя ради ТЕБЯ? И что она стала бы уничтожать свои мудацкие драгоценности? Или оттаивать этот замороженный кусок мяса? — Она смеётся, у неё в горле булькает кровь и жидкость для прочистки труб. Она говорит: — Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы *грызть* свои мудацкие бриллианты, потому что ты её не любишь?

Я говорю: Устрица?

— Во плоти, — говорит Элен, говорит Устрица ртом Элен, голосом Элен. — Ну, то есть во плоти миссис Бойль. У неё внутри, где, готов спорить, ты тоже уже побывал, но другим способом.

Элен поднимает Патрика на вытянутых руках. Её ребёнок, холодный и синий, как фарфоровая кукла. Замороженный и хрупкий, как стекло.

Она швыряет мёртвого ребёнка через всю комнату. Он ударяется о стальной ящик, падает на пол и вертится на линолеуме. Патрик. Одна замороженная рука при падении отламывается. Патрик. Вертящееся тельце задевает об угол ящика, и ножки тоже отламываются. Безрукое и безногое тело, сломанная кукла — оно ударяется головой о стену, и голова отлетает тоже.

Элен подмигивает и говорит:

— Да ладно тебе, папаша. Не лъсти себе.

И я говорю: будь ты проклят.

Устрица занимает Элен, как армия — павший город. Как сама Элен — Сержанта. Как наше прошлое, СМИ и самый мир занимают тебя.

Элен говорит, Устрица говорит ртом Элен:

— Мона давно знала про гримуар. С того дня, как только увидела мамочкин ежедневник. Она сразу всё поняла. — Он говорит: — Просто не могла его перевести.

Устрица говорит:

— Моё дело — музыка, а Монино... Монино дело — глупость.

Голосом Элен он говорит:

— Сегодня вечером Мона очнулась в каком-то салоне красоты, за столиком маникюрши, которая красила ей ногти розовым. — Он говорит: — Она вернулась в контору взбешённая и обнаружила, что миссис Бойль лежит лицом вниз на столе, вроде как в коме.

Элен вдруг всю передёргивает, и она хватается за живот. Она говорит:

— На столе перед миссис Бойль лежал гримуар, открытый на странице с переводом заклинания *временного захвата чужого тела*. Как оказалось, все заклинания были переведены.

Она говорит, Устрица говорит:

— Благослови, Боже, мамочку и её страсть к кроссвордам. А ведь она где-то есть. Наверное, злая как чёрт.

Устрица говорит ртом Элен:

— Увидишь мамочку, передавай ей привет.

Хрупкая синяя статуэтка, замороженный ребёнок разбит на кусочки. Осколки ребёнка — среди осколков драгоценных камней: отломанный пальчик, отбитые ножки, расколота голова.

Я говорю: то есть теперь вы с Моной поубиваете всех и станете новыми Адамом и Евой?

Каждое поколение хочет быть последним.

— Не всех, — говорит Элен. — Нам понадобятся рабы.

Он задирает юбку окровавленными руками Элен. Хватает себя за интимное место и говорит:

— Может, вы с мамочкой что-нибудь учудите по-быстрому, пока она не скопытилась?

И я отталкиваю от себя тело Элен.

Всё моё тело болит. У меня никогда ничего не болело так сильно, даже нога.

Элен тихонько вскрикивает и сползает на пол. Ложится, свернувшись калачиком на холодном линолеуме среди осколков драгоценных камней и Патрика, и говорит:

— Карл?

Она подносит руку ко рту и чувствует осколки камней, застрявшие в дёснах. Она поворачивается ко мне и говорит:

— Карл? Карл, где я?

Она смотрит на ящик из нержавеющей стали, видит разбитое стекло. Сначала она видит только отбитую ручку. Потом — ножки. Потом — головку. И говорит:

— Нет.

Брызжа кровавой слюной, Элен говорит:

— Нет! Нет! Нет!

Из-за сломанных зубов её голос звучит невнятно и глухо. Она ползёт по острым осколкам цветных камней и собирает кусочки. Заливаясь слезами, вся в желчи и крови, в комнате, где уже начинает совсем неприятно пахнуть, она собирает синие осколки. Крошечные ручки и ножки, тельце, расколотую головку — она прижимает их к груди и кричит:

— Патрик! Патти!

Она кричит:

— Мой Патти-Пат-Пат! Нет!

Целуя расколотую синюю головку, прижимая её к груди, она спрашивает:

— Что происходит? Карл, помоги мне. — Она смотрит на меня, но тут спазм в желудке сгибает её пополам, и она видит пустую бутылку из-под жидкости для прочистки труб.

— Господи, Карл, помоги мне, — говорит она, укачивая на руках обломки своего ребёнка. — Скажи мне, пожалуйста, как я здесь оказалась!

И я подхожу к ней, обнимаю её и говорю: поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.

Элен наклоняется к Патрику. У неё изо рта течёт кровь. Руки у неё слабеют, и маленькие пальчики сыплются на пол.

Сейчас я останусь один. Это моя жизнь. И я даю себе слово, что — не важно, где и когда — я найду Устрицу с Моной.

Что хорошо — это займёт меньше минуты.

Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, держа в объятиях обмякшее тело Элен, прислонившись спиной к стальному ящику. Патрик, испачканный моей кровью, испачканный её кровью. Её губы слегка приоткрыты, её сверкающие зубы — настоящие бриллианты.

Её звали Элен Гувер Бойль. У неё были голубые глаза.

Моя работа — подмечать все детали. Оставаться бесстрастным наблюдателем. Моя работа — не в том, чтобы чувствовать. Моя работа — писать репортажи.

Это называлось «баюльной песней». В некоторых древних культурах её пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Её пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук.

Это — колыбельная.

Я говорю: всё будет хорошо. Я сжимаю Элен в объятиях, укачиваю, как ребёнка, и говорю ей: теперь отдыхай. Спи. Я говорю ей: всё будет хорошо.

Глава сорок четвёртая

Когда мне было двадцать, я женился на женщине по имени Джина Динджи и думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Через год у нас родилась дочка, и я думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Потом Джина и Катрин не стало. А я сбежал и стал Карлом Стрейтором. Я стал журналистом. И это была моя жизнь на протяжении двадцати лет.

А потом... вы уже знаете, что случилось потом.

Я не знаю, сколько времени я держал в объятиях Элен Гувер Бойль. А потом это была уже не она, а просто мёртвое тело. Кровь у неё давно уже не текла. Но зато осколки Патрика у неё в руках оттаяли и начали кровоточить.

Потом снаружи раздались шаги, и дверь в палате № 131 открылась.

Я так и сижу на полу, обнимая мёртвых Элен и Патрика, и дверь открывается, и в палату заходит седой коп-ирландец.

Сержант.

И я говорю: пожалуйста. Пожалуйста, посадите меня в тюрьму. Я признаю свою вину. Во всём признаюсь, во всём. Я убил жену. Я убил своего ребёнка. Я — Вальтруда Вагнер, Ангел смерти. Убейте меня, чтобы мы с Элен опять были вместе.

И Сержант говорит:

— Надо скорей убираться отсюда. — Он проходит через палату к стальному ящику. Достает из кармана блокнот, что-то пишет, вырывает листок и протягивает его мне.

Его морщинистая рука вся в родинках. Волосы на руке тоже седые. Ногти — жёлтые и заскорузлые.

«Простите меня, но я не могу больше жить, — написано на листке. — Я иду к сыну. Теперь мы вместе».

Это почерк Элен. Тот же почерк, что и в её ежедневнике, в гримуаре.

Подписано: «Элен Гувер Бойль», её почерком.

Я смотрю на мёртвое тело у меня в руках, всё в крови и зелёной блевотине от жидкости для прочистки труб, потом смотрю на Сержанта, который стоит надо мной, и говорю: Элен?

— Во плоти, — говорит Сержант, говорит Элен. — Ну, не в своей плоти, а так — да, конечно, — говорит он и смотрит на тело Элен у меня в руках. Потом опускает глаза на свои старческие руки и говорит: — Ненавижу готовое платье, но на безрыбие и рак рыба.

Вот так и вышло, что мы снова в дороге.

Иногда я опасаясь, что Сержант — это на самом деле Устрица, который прикидывается Элен, занявшей тело Сержанта. Когда мы с ней спим — кто бы это ни был, — я делаю вид, что это Мона. Или Джина. Так что в итоге всё уравнивается.

По словам Моны Саббат, люди, которые увлекаются выпивкой или обжорством, люди, подсевшие на наркотики и зацикленные на сексе, — на самом деле ими управляют духи тех, кто при жизни любил всякие непомерные удовольствия и не может остановиться даже теперь, после смерти. Пьяницы и клептоманы — все они одержимы бесами, злыми духами.

Мы все — медиумы от культуры. Мы все — чьи-то призраки.

Есть люди, которые всё ещё верят, что они управляют своими жизнями.

Мы все одержимы.

У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.

Нечто чужое всегда живёт, воплощаясь в нас — живёт через нас. Вся наша жизнь — это ворота, через которые нечто приходит в мир.

Злой дух. Теория. Маркетинговая кампания. Политическая стратегия. Религиозная доктрина.

Сержант увозит меня из Медицинского центра на патрульной машине. Он говорит:

— У них есть заклинание временного захвата чужого тела и заклинание, чтобы летать. — Он перечисляет, загибая пальцы. — У них есть заклинание воскрешения, но оно действует только на животных. И не спрашивай почему, — говорит он. Она говорит: — У них есть заклинание, чтобы вызвать дождь, и заклинание на ясную погоду... заклинание плодородия, чтобы растения росли быстрее... заклинание, чтобы понимать язык животных...

Не глядя на меня, глядя на свои руки на руле, Сержант говорит:

— У них нет приворотного заклинания.

То есть я действительно люблю Элен. По-настоящему. Женщину в теле мужчины. У нас больше нет жаркого секса, но, как сказал бы Нэш, чем подобные отношения отличаются от отношений любовников, которые прожили вместе достаточно долго?

У Моны с Устрицей есть гримуар, но у них нету баюльной песни. Баюльная песня была на странице, которую Мона вручила мне перед тем, как уехать, — на странице, где было записано моё имя. Внизу страницы.

Там же, внизу страницы, написано кое-что ещё. «Я тоже хочу спасти мир — но не так, как предлагает Устрица». Подписано: Мона.

— У них нету баюльной песни, — говорит Сержант, говорит Элен. — Но у них есть защитное заклинание.

Защитное заклинание?

Которое защищает их от баюльной песни, говорит Сержант.

— Но всё не так плохо, — говорит он. — У меня есть полицейский значок, пистолет и пенис.

Найти Устрицу с Моной несложно — надо искать чудеса. Фантастические заголовки в газетах. Заметки о сверхъестественном. В июле на озере Мичиган видели, как молодая пара перешла озеро по воде. Девушка приказала траве вырасти из-под снега, чтобы спасти бизонов, умиравших от голода в Канаде. Молодой человек разговаривает с потерявшимися собаками в приюте для животных и помогает им разыскать хозяев.

Надо искать колдовство. Надо искать святых.

Летучая Дева. Иисус Задавленных Зверюшек. Плющевый ад, зелёная угроза. Говорящая корова.

Погоня за чудесами — задним числом. Охота на ведьм. Это не то, что советуют психотерапевты. Но оно помогает.


Мона и Устрица. Очень скоро весь мир будет принадлежать им двоим. Произошло перераспределение власти. Мы с Элен будем вечно в дороге — в погоне. Представь себе, что Иисус гоняется за тобой, пытаясь поймать тебя и спасти твою душу. Что он не просто пассивный и терпеливый Бог, а въедливая и агрессивная ищейка.

Сержант со щелчком расстёгивает кобуру, так же как Элен когда-то открывала сумочку, и достаёт пистолет.

Он говорит, Элен говорит, кто бы то ни был, он говорит:

— Как ты насчёт того, чтобы прикончить их по старинке?

Теперь это моя жизнь.



Чак Паланик. «Сумасшедший гений» не «Поколения Икс», но – поколения СЛЕДУЮЩЕГО. Автор, чьи романы «Удушье», «Колыбельная», «Уцелевший» и «Невидимки» snискали славу КУЛЬТОВОЙ классики современной альтернативной прозы. Автор, который «взорвал мир» своим легендарным «Бойцовским клубом». Писатель, которого уже называют Уильямом Берроузом нашего времени.

Это — Чак Паланик, какого вы не то что не знаете — но не можете даже вообразить. Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно? Тогда просто прочитайте «Колыбельную»!

...СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины — просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»? Или — СМЕРТЬ ПОД КОЛЫБЕЛЬНУЮ? Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле».

Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений... Это — «Колыбельная».

КНИГА СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

ISBN 978-5-17-081952-2



9 785170 819522

www.ast.ru

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Примечания

Настольная игра, где нужно передвигать фишки по полю, бросая кубик. — *Примеч. пер.*

Короткая, но самая знаменитая речь президента Линкольна, которую он произнёс 19 ноября 1863 года на открытии национального кладбища в Геттисберге. — *Примеч. пер.*